

**Пантелеймон Александрович  
Кулиш  
ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ  
ПОЛЬШИ (1340–1654)  
ТОМ 2**

**Глава XI**

*Страх соединения казаков с азиатскими соседями. — Связь между Московским и Польским разорениями. — Главные действующие лица в ускорении Польской Руины. — Спасительный план великого полководца и гражданина.*

У наших днепровских казаков, по их инстинктам, было больше общего с татарами, нежели с какою-либо частью польско-русского населения Малороссии.

Мы видели, что польские короли поступали с казаками так, как поступали древние русские князья с дикими обитателями пустынь, лежавших за рекой Росью с правой стороны Днепра и за рекой Сулой с левой; именно: привлекали их себе на службу, как и других иноплеменных ордынцев.

Страх соединения казаков с азиатцами против европейской гражданственности заставил польское правительство ухаживать за двумя изменниками своими, Евстафием Дашковичем и Димитрием Вишневецким. Тот же страх принуждал Польшу платить татарам *гарач* и вооружать хана против низовой вольницы для очистки от неё запорожских пустынь.

С своей стороны казаки, называя панов неблагодарными, старались ладить с крымцами, и чуть было не поступили на службу к хану под предводительством Самуила Зборовского, назвавшегося ханским сыном. Раздраженные намерением польско-русских властей взять их в крепкие руки, и обманувшись в расчетах на татар, они пытаются ниспровергнуть панов собственными силами, с помощью накопившегося в безглавом обществе разбойного элемента. Но, когда домашние средства оказались недостаточными, казаки служат крымским ханам в их борьбе с турецким господством, и по-старому приглашают крымцев для опустошения панских владений. Паны бьют казаков на урочище Медвежьи Лозы и задабривают подарками татар. Казаки снова служат хану, под предводительством Дорошенка. Снова паны бьют их в Переяславле, и разлучают с крымцами посредством подарков. В 1637 и 1638 годах со стороны казаков повторяется та же попытка

привлечь татар к совместному набегу на панские имения, а со стороны панов отправляются к хану возы кожухов, жупанов, сапогов и денежной дани.

Тяжелые вздохи, с которыми казаки слушали на Масляном Ставу евангельские внушения проповедника, присланного Петром Могилою, не замедлили сделаться у них, волчьим воем и медвежьим ревом, а когда ярость побежденных панским оружием стихла, они вернулись к той мысли, которая поддерживала их бунты со времен Косинского: стали в десятый раз искать своего торжества над панами в татарской помощи. Долго выжидали они благоприятных для того обстоятельств. Но Польша жила в согласии с Москвою; Конецпольский отражал казацкие набеги могущественно, и в 1644 году поразил крымцев под Охматовым так сильно, как будто воскрес памятный им панский казак, Стефан Хмелецкий.

Наконец «перекопским царем» сделался Ислам-Гирей, прошедший всю молодость в польском и турецком плену. Это был дикий фанатик магометанства, надменный своим родом, который, по его взгляду, был выше султанского. Казаки, вращаясь по своим интересам в магометанском соседстве, знали его с той стороны, которая была им на руку, и обратились к нему с предложением своего подданства, лишь бы он помог им одолеть «ляхов». Но Ислам-Гирей

презирал христиан вообще, смотрел на них, как на существа низшие, и если входил с ними в договоры, то лишь для того, чтоб их обмануть, как человек обманывает животных. Предложение днепровских джауров было им гордо отвергнуто. Это казаков не остановило. Они, с своей стороны, презирали мусульман, и называли их поганцами, неверными псами. Они татар и турок ненавидели почти столько же, как своих панов; если же, в последствии величались дружбой и братством крымцев, то делали это в опьянении торжества над панами и на досаду москалям, которые долго взвешивали, можно ли принять их «под высокую царскую руку». Отвергнутые в десятый раз, казаки терпеливо ждали времени, когда интересы «неверных псов» соединятся с их благоверными интересами для опустошения «Христианской земли».<sup>1</sup>

Между тем колонизация малорусских пустынь, по усмирении казаков и татар, пошла так успешно, что у Конецпольского явилась мысль — выместить кипчакскую Орду совсем из «Таврики» и заселить Крым христианами. Эту мысль

---

<sup>1</sup> Кобзарские думы называют Христианскою землею, иначе Святорусским Берегом, безразлично и Восток и Юго-восток польских владений, когда говорят о возвращении пленников из татарской и турецкой неволи.

Конецпольский давно уже оборачивал в уме своем и совещался о способах к её осуществлению с преданными ему людьми. В 1645 году изложил он свой проект на бумаге, но не решался покамест публиковать, в виду всеобщего стремления землевладельцев к мирным занятиям, которым больше всего мешали миновавшие с 1638 годом казацкие бунты.

Проект Станислава Конецпольского замечательнее всего тем, что в нем польско-русской республике указывалась необходимость искренно-тесного союза с Московским царством. Колонизатор малорусских пустынь признавал в московском правительстве такие способности к заселению новоприобретенных земель, что он был готов предоставить в его распоряжение Крым по изгнании из него татар. Он признавал за «москалями» также и умение удержать навсегда в своем обладании «Таврику», к чему, очевидно, считал не способными своих единоплеменников, поляков. Дело это представлялось ему опасным с одной только стороны, именно с той, что Москва, заняв Крым, и живя в таком близком соседстве с казаками, может, пожалуй, отторгнуть от Польши и казаков, и «всю Русь»; но всё-таки приходил он к заключению, что для Польши лучше было бы иметь в «Таврике» соседями подозрительных приятелей, «москалей», нежели явных неприятелей

«язычников».

План этот, столь же человеческий, как и дальновидный, занимал знаменитого охранителя Польши так серьезно, что осенью 1645 года послал он в Крым искусного геометра и рисовальщика Себастиана Адерса, родом из Мазовии, под видом купца, для снятия на план и изображения тамошних городов и крепостей. Но через год с небольшим Конецпольского не стало, и его внезапная смерть открыла свободный ход роковым событиям, которые, по-видимому, один он мог бы остановить.

Эти события возымели свое начало в тех обстоятельствах, которые сопровождали Московское разорение. Из Московского разорения вытекало разорение Польское.

Одним из действующих лиц на сцене смут, последовавших за прекращением династии Рюриковичей, явился малолетний польский королевич, Владислав. Его царствование в Москве провозгласил величайший полководец своего времени, Станислав Жовковский: значит, не было оно мечтой личностей мелких. Все десятилетнее царствование талантливого короля Стефана было исполненной кипучей деятельности пропагандой подчинения Москвы Польше и введения обоих государств в широкий план христианской войны с неверными. Эта пропаганда не осталась без последствий и по его смерти. Одним из них было

унаследование мысли Стефана Владиславом. Скучая дома под опекой клерикалов наставников, живой и мечтательный королевич неожиданно увидел себя самодержцем народа, готового, по-видимому, посвятить себя тому делу, которое тогда и в героических понятиях рыцарства, и в набожных внушениях духовенства было величайшею славою государей и государств, — освобождению христианского света от мусульман. Король Сигизмунд, оттесняя сына от московского престола, только усиливал в его воображении сияние полновластной царственности. В то же самое время, в уме отрока напечатлевалось и обладание шведскою короною, которой домогался по-своему мечтательный отец. Походы в Московию, продолжавшиеся, с промежутками, от 1604 до 1618 года, еще больше развили отроческие и потом юношеские грезы Владислава. Не мало способствовало возрастанию истинно польского высокомерия и его путешествие по Европе, где всюду принимали его, как будущего носителя трех корон, польской, шведской, московской и, по духу панегирического века, на каждом шагу высказывали, что провидят в нем совершителя подвигов могущественной царственности. Наконец, его воцарение в Польше, приветствуемое единодушными восторгами всего народа и блистательная победа над воеводою Шеиным у

Смоленска, по его самомнению, как будто рукою самой судьбы, вели его к престолом и завоеваниям, точно другого Александра Македонского.

В виду крестового похода на турок и преподанного ему отцовскими клерикалами освобождения Гроба Господня из рук неверных, король Владислав, наперекор самому папе, сделался сторонником польских протестантов и покровителем наших противников церковной унии. Но, готовясь к своим великим подвигам, он, и при жизни отца, и по своем вступлении на престол, содействовал развитию в Польше той разрушительной силы, которая, по его смерти, подавила, строительную.

Казаки, стучавшие в московские ворота булавой Сагайдачного, приводившие турок в отчаянье под Хотином и на Черном море, ратовавшие за сочиненное ими «ломанье веры» на Трубеже и на Альте, ложившиеся одни на других в Медвежьих Лозах и под Кумейками, истреблявшие цвет польского рыцарства на Суле и оказавшиеся неодолимыми в своих окопах на Старце, — были, можно сказать, его созданием, его тайной отрадою в борьбе с панским полновластием, его великою надеждою в будущем. Рост их увеличивался с каждой потерей из казацкого дела. Они, в неудачах своих, проходили курс науки крушения, основания которой преподавал им обиженный панами шляхтич



Косинский, и, падая под ударами культурников, подвергались только новому и новому искусству в своем руинном ремесле. Казацкая энергия в подвигах опустошения соответствовала энергии старших казацких братий, колонизовавших малорусские пустыни с быстротой изумительною. Смерть величайшего из польско-русских колонизаторов и могущественнейшего из обуздателей казатчины, Станислава Конецпольского, обозначила в судьбах Польши поворот, после которого началось торжество разрушительной силы над строительною, — началась победа номадов над культурниками...

Но возвратимся несколько назад.

1645 и 1646 годы были моментом последнего благоденствия, возможного для Польши. Европу оглушал не прерывавшийся третье десятилетие уже боевой гул; Европу потрясали кровавые войны, а в Польше царствовала тишина, тем драгоценнейшая для шляхты, что кругом ревела буря, — для шляхты, но не для её короля. Она его томила. Великие замыслы Владислава IV ограничивались, покамест, заключением славного мира с Москвой, Турцией и Швецией, а было ему уже 50 лет от роду, и он всё ещё стоял при начале своего дела, так точно, как и в легкомысленном отрочестве. Вот что его томило в победительной Польше среди счастливой тишины!

Владислав не принадлежал к тем сильным характерам, которые упорною работою преодолевают встречаемые затруднения и постепенно достигают предположенной цели. Не обладает он способностью созидать средства для войны и выбирать людей, которые бы умели и желали содействовать ему в великом предприятии; проживал так или иначе все, что было у него в руках, и попадал в зависимость от сеймующей шляхты, в то время, когда, надобно было ею повелевать; выпрашивал у неё денег, угождал влиятельным сановникам, делал уступки, и этим уничижал царственное достоинство свое. Всякий раз, когда приступал он к делу (пишут о нем поляки), не доставало у него средств для исполнения; то разом начинал несколько предприятий, то впадал в унылое бездействие. И как было ему не унывать, когда вся Европа воевала, а он, который сознавал себя рожденным для блистательных побед, сидел сиднем на своем прославленном престоле? Любили и хвалили его в Польше за спокойное царствование; называли даже великим, но за что? За то, что он умел преодолеть жажду славы, и победил не только Москву, Турцию, Швецию, но — и самого себя. Таким образом ставили его выше Александра Македонского; но это была горькая ирония. Победитель терзался громкою хвалою молча, и

готов был на самые отчаянные планы. Мысль о Турецкой войне сделалась наконец его манией.

Несколько лет уже, не объявляя сейму, пропускал он сроки посылки татарам обычных подарков, а от их мстительных набегов заслонялся бдительным стражем границ, Конецпольским. Когда донские казаки, с помощью днепровских выписчиков, овладели Азовом, торжествуя разом над Портой и над крымцами, — он порывался к ним на помощь, соглашал к тому же и московского царя. Его уносчивое воображение озарилось картиной завоеванной Таврики, картиной заселения днестро-буго-днепровского Низу, богатства черноморской торговли и обращения убогих неучей казаков к обильной и просвещенной мещанской жизни в приморских городах. Но расхозяйничавшиеся землевладельцы не желали воевать с татарами, опасаясь войны с Турцией, требовали удовлетворения крымцев подарками, а турок — надлежащим посольством. В 1643 году султан подтвердил мир с Польшею, и запретил татарам вторгаться в её владения. Татары, однакож, продолжали вторжения, как были наконец страшно поражены Конецпольским, с помощью князя Вишневецкого, под Охматовым, в 1644 году.

Тогда король выступил опять с проектом Крымской войны. Время было благоприятное. В Крыму происходили замешательства. Недовольный

ханом Мехмет-Гиреем турецкий султан, Ибрагим, вскоре после Охматовского поражения, свергнул его с престола, велел выпустить из заточения брата его, Ислам-Гирея, и наименовал ханом.

В Орде открылась уособица между сторонниками братьев Гиреев. В это время Турция и Венеция готовились взаимно к войне, которая обещала быть долголетнею и для Турции гибельною, так как султан Ибрагим был «не в полном уме», а государство его терзали междоусобные войны. Король возымел надежду подавить крымцев беспрепятственно со стороны Турции.

После, победы под Охматовым, созвал Владислав сенаторскую раду и провел в ней постановление, чтобы с этого времени подарков татарам не давать. Постановление состоялось в конце февраля 1645 года. Ближайший сейм должен был подтвердить его, а между тем король стал готовиться к войне, которая долженствовала возгореться одновременно с Турко-Венецианскою: велел строить арсеналы в Кракове, во Львове, в Варшаве, вызывал инженеров и ремесленников из-за границы, запасался военными снарядами. Хан Ислам-Гирей прислал послов, домогаясь подарков. Король задержал их до сейма, а на сеймики выслал универсалы, предрасполагавшие шляхту к подтверждению постановления о подарках татарам,

состоявшегося в сенаторской раде.

Главным помощником его был канцлер Оссолинский. В блестящей и злотворной деятельности этого сановника история видит воплощение общественных и государственных недугов, которыми неисцелимо уже разболелся тогда расслабленный организм Королевской Республики. Я представляю только выразительнейшие черты зловещей личности.

Род Оссолинских принадлежал к древнейшим, но не можновладным домам старой Польши. Отец канцлера первый возвысился до сана воеводы, следовательно и сенатора.

Он отличался таким умом, гражданским мужеством и даром слова, что пользовался равным уважением со стороны противоположных и враждебных между собою партий: явление редкое в жизни политических обществ. О матери канцлера почтенный биограф его, доктор Кубаля, говорит, что это была одна из тех великих матрон, которых возвышенная жизнь протекала в тишине и спокойствии. Над её гробом, по его мнению, можно было бы повторить слова, сказанные Замойским о её брате, Фирлее: «Собраны сливки с нашего молока».

Но на вопрос апостола: «течет ли мутная вода из чистого источника?» приходится отвечать здесь утвердительно. Чистейшие источники

старопольской жизни были повсеместно возмущаемы иезуитами у самого жерла их. До того умели эти ревностные служители папы подделаться под самые благородные характеры простосердечных полонусов, что пагубное воспитание, даваемое ими панским детям, прославлялось, как наилучшее. Так было и с домом Оссолинских.

Юрий Оссолинский, будущий канцлер, лишился добродетельной матери на пятом году жизни, а добродетельный отец, на девятом году, отдал его в иезуитскую гимназию в Пултуске, считавшуюся наилучшею в Польше. Здесь оставался он три года, которые совпали с тем временем, когда польские иезуиты, с королем Сигизмундом III во главе, обработали дело первого Лжедмитрия.

Насажденное ими в польских сердцах лукавство приносило уже свои плоды, и заражало атмосферу общественной жизни на широком пространстве. Под влиянием общего извращения чувства правды, честный полонус доверчиво погрузил сына в самое жерло религиозной и политической фальши.

Перед воцарением Сигизмунда Вазы, он оказал императорскому австрийскому дому памятное для этого дома усердие, и теперь послал сына в иезуитскую академию в Граце, состоявшую

под главным заведыванием эрцгерцога Фердинанда, будущего императора, который любил и чтит орден иезуитов «как мать», сохранял его «как зеницу ока» и объявлял во всеуслышание, что «лучше желал бы, чтоб его собственный дом исчез, нежели иезуиты».

Биограф Оссолинского говорит, что «никогда бы в Польше не мог усвоить он таких католических воззрений», какие усвоил на всю жизнь в тесном общении с семейством Фердинанда и с иезуитами. Четыре года провел он в грацкой аптеке ядов, отравлявших умы и сердца католического мира, а эти годы соответствовали тому крушению нравственности в москво-русском и польско-русском народе, посредством которого иезуиты едва не погубили Московского царства заодно с будущим его приростом, воссоединенною Малороссиюю.

По тогдашней общественной оценке, установленной, как в Австрии, так и в Польше, иезуитами, Юрий Оссолинский получил воспитание блестящее. По оценке нашего современника, его биографа, монастырь и монарший двор было все, что он видел; людей таких, какими они есть, Оссолинский не знал и не понимал, — можно сказать, что в течение четырех лет не развился он вовсе... В этом-то и состояла суть иезуитского воспитания.

Господствовавшая тогда в Польше мода

велела образованному юноше, перед вступлением в государственную службу, совершить путешествие по Европе. В этом поляко-руссy опередили москво-руссy тремя столетиями; но иезуиты обратили преимущество их в ничто.

Молодой Оссолинский прежде всего посетил Голландию, которую так великодушно силился вырвать из католических рук Вильгельм Оранский, и которая вверила ему власть на все время войны за свободу совести. Прошло уже 24 года после того, как вооруженный иезуитами фанатик своим выстрелом положил конец человеколюбивым подвигам Вильгельма, — и представитель «вольного шляхетского народа», путешествуя по местам, которые Вильгельм Оранский прославил в истории борьбы с деспотизмом, не находил для себя другого дела, как богомольничать в католических церквях. Бледный и худой от прилежного учения, едва вышедший из отрочества, юноша «был похож на клерика». Он состоял уже членом церковного братства Марии Панны и такого же братства Св. Духа, а в Кракове вписался у бернардинов членом братства Св. Михаила.

Сохранились его записки, проливающие безотрадный свет на людей, которые считались лучшими и даже великими в Польше. В них Оссолинский рассказывает о характеристической проделке, которую он сочинил самостоятельно, на



шестнадцатом году жизни, по случаю болезни сопровождавшего его, в качестве телохранителя, Далмата Посседари. Вот его собственные слова: «Посседари заболел так, что три недели, от тяжких страданий, находился почти в беспамятстве. Опасаясь, чтобы меня, mlodego chlopca, не ограбили, или не умертвили, я выдал себя за его слугу, одевшись в лакейское платье и говоря, что это убогий воин едет из Москвы в Нидерланды на службу, а меня, как знающего немецкий язык, уговорил в Силезии ехать с собою».

В Лувене, славившемся своею разнореческою академией, Оссолинский слушал весьма прилежно целый год философию, право, историю, политику, блистательно защитил диссертацию «De optimo reipublicae statu», посетил Фландрию, Англию, оттуда переехал во Францию, провел опять целый год в Париже, усовершенствовался во французском языке, в математике и в красноречии. Кроме того брал уроки верховой езды, игры на лютне и танцев, изучая в то же время всякие публичные церемонии и торжества. После того отправился на год в Падую, где учился итальянскому языку, стилистике и декламации. Из Падуи ездил в Рим, чтоб изучать церковные дела. Здесь он погрузился в омут клерикальной казуистики, под руководством чествуемого при папском дворе доминиканца,

Авраама Бзовского, славного автора *Церковной Летописи*, как отец вызвал его домой по случаю предпринимаемого королевичем Владиславом похода в Московию, на который он смотрел, как на дорогой для молодого человека случай проложить себе дорогу к дигнитарствам и пожалованиям.

Теперь Юрий Оссолинский не был уже похож бледною худощавостью на клерика. Теперь он чаровал всем глаза прекрасною наружностью и тем, что называлось тогда *grandezza*, тем искусством лицедействовать в роли публичного оратора и общественного деятеля, которое он усвоил себе в высокой степени, как самое важное достоинство молодого аристократа. Только смех был на его выразительных устах «слишком редким гостем». Но что нас поражало бы неприятно в молодом человеке, то еще больше возвышало его во мнении общества польско-русских магнатов, более или менее одураченных иезуитским взглядом на вещи. Во всех положениях жизни он был всё тем же клериком, являвшимся в разнообразных ролях, — до того, что, когда ему пришлось соперничать за невесту с богатейшим из польско-русских панов, князем Янушем Острожским, и Януш внезапно скончался, он устранение соперника с его дороги приписывал Господу Богу, и «благодарил святой маестат Божий за его великое провидение (*za wielka opalrsznosc Boza Jego Swietemu Majestatowi*

dziękował)». Это его собственные слова.

«Во всем его повествовании» (говорит о записках Оссолинского его биограф) «видим его постоянно в (ксензовском) орнате, и дурно ли, хорошо ли он поступает, всегда у него Господь Бог на устах».

Перл иезуитского воспитания не мог оставаться в Польше без соответственной оправы. В виду угроз Османа II завоевать Польшу по Балтийское море, чтоб, окружив Европу своим флотом в соединении с голландскими и немецкими протестантами, начать борьбу с австрийским домом, — надобно было согласить Англию к противодействию магометанам. Органом этого соглашения был избран блестящий питомец иезуитов, и, чтоб его несравненная *grandezza* делала надлежащее впечатление, дали ему каким-то — выражусь по-польски — *rokatnym* способом громкий титул графа Тенчинского. В своей сияющей оправе, поражающий высоким, по мнению современников, просвещением, 26-летний посол оправдал перед Иаковом I английским и его парламентом составившееся в Польше мнение о его красноречии. Как отец графа Тенчинского своим честным вмешательством примирял враждебные партии даже во время конференции, так наружность, ораторские позы и декламация сына его производили на польских верховодов такое

впечатление, что когда, в позднейшее время, поднимался он с места в законодательном собрании, самые сварливые люди умолкали ради одного удовольствия слушать его. «Он царствует словом (*ille regit dictis*)», говорили о нем приверженцы. «Обезоруживает умы и сердца (*animos et pectora mulcet*)», прибавляли враги его... Так было и в Англии. При всем разномыслии своем, и тории и виги заслушались цicerоновской латыни посла красавца. Речь, произнесенную Оссолинским перед королевским тронem, восхищенный Иаков повелел напечатать на латинском, английском, французском, испанском и немецком языках.

Так и должно было быть. Оссолинский владел в совершенстве искусством лести, и постигал истинно иезуитски слабые стороны тех, к кому обращал свое усладительное и вместе грандиозное слово, в декламации же превзошел он всех своих учителей. Но грустное впечатление делает ныне та часть речи польского посла, в которой он изобразил, какая предстоит опасность всей Европе, и наипаче Англии, в случае падения Польши. Эти слова, внушенные блестящему оратору его национальным высокомерием, выслушивались в то время, как нечто разумное, людьми, державшими в своих руках богатства и судьбы вселенной. Такое же впечатление производит и торжественный, пышный, преисполненный почтения к Польше

прием посла её с самого появления его на английской территории. То была горькая ирония так называемого рока, возвышающего и низвергающего гражданские общества в видах потребностей человечества.

Торжество политического витии польского в Англии было полное. Но Иаков I относительно недалекой уже английской революции был то, что Сигизмунд III относительно приближающейся Польской Руины. Будущие кромвелисты, пуритане, озабочивали его не меньше, как и будущие хмельнисты, казаки, тревожили современного ему короля польского. Посольство Оссолинского и его продолжительное пребывание в Англии не имели никаких результатов.

К чести польско-русских правительственных людей, сенаторов и земских посланцев, созданный иезуитами государственный человек не имел большого между ними хода до конца жизни Сигизмунда Вазы. Из панской добычи, которою львы польской олигархии делились яростно между собою, Оссолинский добился только трех староств. Этого было бы достаточно для многих других панов, но слишком мало для человека с его завоевательными средствами. Только перед смертью старого короля благоприятели сделали его надворным подскарбием, что, при его выработанной в иезуитских школах деятельности и

ловкости, дало ему возможность держать в руках и Коронный Скарб.

К чести ума и сердца Владиславова надобно также сказать, что, будучи королевичем, Владислав держал Оссолинского в почтительном отдалении. Но Оссолинский, возвышаясь медленно, заставил нового короля, оценить свои способности выше, нежели ценило их олигархическое правительство. В качестве надворного подскарбия, то есть министра двора, принимал он важное участие в избрании на престол сына почившего короля, и сделался его оратором, его приватным министром. Новый король осыпал его вдруг такими дарами, что одну только пожалованную ему саблю ценили в 10.000 злотых. Но Владислав IV сверх того подарил ему собственный дворец в Варшаве, шестерню дорогих лошадей, 60.000 наличными деньгами, богатые обои, которыми были украшены хоры краковского собора, и бидгоское староство, одно из богатейших в Польше. Сколько эта чрезмерная щедрость озлила некоторых олигархов, столько привлекла она к восходящему светилу можновладства других, заинтересованных по-своему в королевских пожалованиях.

Результатом умножения благоприятелей нового вельможи было то, что коронационный сейм согласился на замену его дедичных добр королевскими добрами, называвшимися

Смердиною и находившимися в его «державе». Подобная мена всегда составляла выгоду частного лица, и была для Оссолинского своего рода наградой, которая опять привлекла к нему многих, видевших в этом собственный интерес.

Оссолинский начал играть в одно и то же время две роли, невидимому несовместимые: католическая партия видела в нем своего представителя, так точно как и протестантская, или что в сущности было одно и то же, разноверческая. Питая противоположные надежды одних и других, подвизался он для себя лично, вовсе не для короля, и в то время, когда казалось, что католичество для него всего дороже, или, что для разноверцев он рискует своею репутацией в католическом свете, — на дне его души таилась польская *privata*, поддерживаемая *брацишками Иезуса* в польских можновладниках весьма старательно.

Новый глава олигархической республики, король Владислав, избрал политику, противоположную политике миновавшего царствования. По его мнению, друг и наставник отца его, император Фердинанд II, в своей ревности к церкви, обнаруживал нелюбовь к своему народу. Владислав заявлял не только религиозную *терпимость* но и религиозное согласие. Предполагалось привлечь к деятельному участию в предприятиях короля и протестантов, и

державшихся с ними за руки православников важными уступками в их домогательствах, только эти уступки надлежало сделать таким способом, который бы успокоил негодование католической партии и самого папы. В проведении такого неудобопонятного для нас церковно-политического проекта Оссолинский вырос во всю высоту своего злотворного гения, в котором проявился иезуитиченный гений самой Польши.

Желая возратить своему дому протестантскую Швецию, новый король обещал не ограничивать свободы польских диссидентов никакими мерами; а намереваясь объявить свои права на московский престол, привлекал он к себе дизунитов. Между тем первенец новой династии московских государей, пользуясь промежутком бескорольвья в Польше, вознамерился отнять у неё старые ворота своего царства, Смоленск. Польских патриотов тревожило опасение, как бы Москва не привлекла к себе малорусских православников, которых они воображали солидарными в их национальных и общественных интересах. Перемирие со шведами истекло уже. В случае новой войны, боялись, как бы шведы не нашли себе доброжелателей в Королевской Республике. При таких обстоятельствах, правительственные паны-католики, в бескорольвное время, были принуждены к уступкам диссидентам и совершенно



предоставили новому королю успокоение «схизматиков», как называют поляки православных и ныне.

В качестве воина, король действовал искренно, но советники и руководители его, во главе которых стоял Оссолинский, основывались на иезуитском правиле, по которому в присяге слова и намерения могут быть и не одинаковы, так что, кто перед Богом обещает исполнить данное слово, но в то самое время вознамерился не исполнить его, того присяга не обязывает ни к чему. Когда Владислав произносил торжественную присягу — ввести в самую жизнь то, что обещал диссидентам и православникам ревностный католик, литовский канцлер, Альбрехт Станислав Радивил,<sup>2</sup> присутствуя при этом официально, шепнул ему на ухо: «Не можете ваша королевская милость иметь этого в намерении»; на что король отвечал честно: «Кому присягою устами, тому присягаю и намерением».

Слова Радивила служат историку ключом к объяснению дальнейших действий католической партии, представляемой в своем лице Оссолинским.

---

<sup>2</sup> Это древнерусское имя писали еще по-русски в XVI-м столетии (автор Боркулабовской Хроники) и в XVII-м (Кулаков, Самовидец). Я пишу его по-русски в XIX-м.

Зная обнаруженное этими словами правило, папский нунций тотчас успокоился насчет сделанных схизматикам уступок, лишь только ему сказали, что уступки вынуждены временною необходимостью, в видах войны с Москвою; что король обещал вести унию иным, более прочным способом; что отправит к папе посольство для объяснения своих действий, и не только обещает ему привести на лоно католической церкви польских схизматиков, но и шведов, и Москву, против которой идет воевать, повергнет к ногам святого отца. Собственно королю нужно было не позволение, а молчание Римской Курии, потому что католическая партия была довольно сильна для того, чтобы все планы его рушились, если бы папа объявил свое несогласие на те пункты перемирия с иноверцами, в которых присягнул король.

Существовал в Польше обычай — по восшествии на престол нового короля, посылать в Рим посольство для засвидетельствования Апостольскому престолу государственной подчиненности, которою поляки гордились, как ревностнейшие из всех воителей под знаменем Св. Креста. Теперь надобно было снарядить посольство, как для оправдания сделанных иноверцам уступок, так и для других, менее важных для короля дел, из которых особенное внимание русского историка обращает на себя ходатайство

шляхты перед святым отцом о приостановлении перехода панских, иначе земских, имуществ в руки духовенства.

Уже четыре короля старались приостановить это зло, угрожавшее Польше, по словам самих католиков польских, обратить ее в «духовное государство». В последние годы царствования Сигизмунда III особенно усилился зловеший переход светских имуществ к духовенству; на других же имениях отяготели такие долги, что много богатых землевладельцев было вытеснено духовными людьми из имений, а сыновья их «принуждены были жить среди казаков». Папским нунциям, резидовавшим в Польше, представлялась уже возможность — «в короткое время обратить в католичество всю русскую шляхту, а за нею мещан и мужиков, без всяких увещаний, одним тем, чтобы все 23.000 дигнитарств и бенефиций, находившихся в распоряжении короля, раздавать одним только духовным».

Послом в Рим был избран человек, пользовавшийся доверием не только таких панов, какие возвели на митрополию Петра Могилу, но и таких, какие стояли за спиной у литовского канцлера, когда он шептал королю достопамятное слово о *намерении*. Самые иезуиты надеялись, что им, как ордену полусветскому, Тенчинский граф, помимо орденов монашеских, исходатайствует

разрешение святого отца на обращение шляхетского сословия в безземельников. Но у них, сверх того, была еще тяжба с Краковской Академией, которую они теснили своими школами. Они и здесь возлагали надежду на своего питомца, так точно как надеялись на него и академики.

В качестве великого посла, Оссолинский воспользовался вывезенными из Москвы сокровищами коронного скарба, для того чтоб явиться перед Западною Европой представителем «величайшего из монархов севера, короля польского, шведского и царя московского». Наглядным представлением могущества своего монарха и своею собственною пышностью ему надобно было облегчить себе достижение предположенной цели в том городе, «где» (по замечанию самих поляков) «богатым и сильным редко в чем отказывали». Но, так как богачем он всё-таки не был и «денег напрасно тратить не любил», то в приготовлениях к своему посольству должен был прибегнуть к соображениям, свойственным его изворотливости.

Прежде всего подобрал он себе «дворян», отличавшихся мужественною красотой, богатством и образованностью, из которых бы каждый представлял с таким достоинством особу посла, своего пана, с каким он сам — особу короля, и чтобы, видя их, можно было сделать выгодное

заключение обо всей шляхте. Зная, с каким великолепием появлялись в Риме посольства французские, постановил он: «чтобы то, что у них было из серебра, у него было из чистого золота, — что у них из золота, то у него из драгоценных камней, — что у них из драгоценных камней, то у него из диамантов». А для того стоило только взять из коронного скарба на показ все блестящее да истратить соответственно незначительную сумму на выставку, — и глаза римлян будут ослеплены. Кортeж его состоял из 300 людей, 20 экипажей, 30 верховых лошадей, 10 вьючных верблюдов и соответственного количества нагруженных всяким добром брик. Все это было распределено и построено с такой глубокой обдуманностью, для поражения римлян изумлением, с каким гениальный воин ведет в огонь свои победоносные колонны. В довершение дешевого эффекта, Оссолинский вез папе подлинную грамоту Константина Великого, которою Константин подарил церкви город Рим. Грамота эта, по завоевании турками Константинополя, сделалась достоянием казны московских царей, а по взятии Москвы великим русином Жовковским, попала в польские руки: «драгоценный подарок для папы и славный для польской нации», как пишут поляки.

В то самое время, когда Оссолинский дивил представителей католической Европы театральным

великолепием своей обстановки, получено было в Риме известие о торжестве короля Владислава над московскою ратью под Смоленском. Это событие вдохновило польского оратора такую громозвучностью, хвалебную для короля и папы, а порицательного для Москвы, что святой отец тут же сказал своему камерленго: <sup>3</sup> «И Цицерон не говорил бы лучше».

Слушали латинскую речь Оссолинского послы французский и других католических государств. Было что слушать им. Представитель могущественнейшего монарха севера приветствовал главу западной церкви такими например словами:

«Сколько ни есть народов, покрывающих север Европы на широком пространстве от Карпат до Каспийского моря и от Ледовитого океана до моря Черного, все они, в лице моего монарха Владислава, преклоняются ныне пред престолом твоим, святой отче: ибо все тамошние народы — или принадлежат его маестату по праву наследственному, или же, покоренные оружием, признают его повелителем своим».

---

<sup>3</sup> Это звание носит при дворе папы кардинал, управляющий юстицией и финансами. После смерти папы до избрания нового, камерленго управляет папским царством.

Национальное самохвальство польского посла находило в Риме полное сочувствие, когда он говорил: «Оттоманский полумесяц, разрушивший столько городов укрепленных, перешагнувший столько непроходимых пропастей и быстрых рек, истребивший столько христианских поселений, останавливают поляки голою грудью. Что татарская свирепость не разлилась по всей Европе, этим обязана Европа одной Речи Посполитой. Многократно победили мы москалей, христиан только именем, самим же делом и обычаем горших из всех варваров, — победили, и наконец прекраснейшую часть их областей обратили в нашу провинцию... Узришь еще, с помощью Божией, перед своею столицей и одичалых скандинавских львов, присмиривших под могучей рукою Владислава; узришь перед собой отступников общего пастыря, и затворишь их в овчарне своей», etc. etc.

Чтобы заручиться помощью самовластной олигархии в великих предприятиях короля своего, проектировал Оссолинский еще прежде союз католических магнатов под фирмою рыцарского братства беспорочного зачатия. Это братство долженствовало состоять из 48 членов, возвышенных папою в княжеское достоинство и обязанных повиноваться в войне с неверными великому магистру, польскому королю. Папа, через

своего нунция, обещал дать санкцию проекту Оссолинского, который, служа мечтательным видам Владислава, в то же самое время представлял Римской Курии новый способ обладания Польшею в лице богатейших и могущественнейших её олигархов. Теперь, восхищенный послом и посольством, наместник Христа утвердил Братство беспорочного зачатия, и дал Оссолинскому титул римского князя. Зато ж и римский князь уверял Христова наместника, что в Польше «весь сейм, сенат и народ больше заняты борьбою за религию с согражданами своими, нежели безопасностью и целостью общего отечества».

Но тут Оссолинский зашел уже слишком далеко в обольщении властителей земли: основавшись на его уверении, папа не поступился ни одним епископством и ни одним храмом из той добычи, какую получил в польской Руси через посредство измышленной иезуитами унии. Наряженная им конгрегация из 4 кардиналов, 4 прелатов и 4 ученых теологов, после пятидневного взвешиванья этого вопроса на католических весах, не могла найти никакого способа, которым бы апостольская столица могла принять самое малейшее участие в возвращении схизматикам их предковской собственности. Оссолинский добился того, что папа запретил монашеским орденам в Польше приобретать



земские имущества (однакож фактически оказалось это невозможным), добился своими истинно иезуитскими уловками, через самих же иезуитов, и того, что иезуитские школы, основанные в Кракове вопреки привилегированной королями Краковской Академии, были закрыты; но вопрос униатский *de jure* остался в том же положении, в каком был при Сигизмунде III.

Таким образом то, для чего собственно ездил Оссолинский в Рим, послужило только к его славе среди толпы, стекавшейся со всего света в столицу католичества, и к его возвышению в глазах людей, ценящих заслуги по титулам. Возвращаясь в отечество через Флоренцию, Венецию и Вену, он был принимаем точно владетельный потентат; и осыпаям беспримерными подарками, а Фердинанд II австрийский вручил ему на прощанье диплом, которым княжеское титуло, присвоенное имениям Оссолинского, сделалось принадлежностью, как его особы, так и его потомков; Фердинанд наименовал его князем Римской Империи. Латинским языком различие между двумя титулами выражалось так: *Princeps Ossolinski, Dux in Ossolin*.

Возвратясь в отечество, Оссолинский получил в награду обширные имения в завоеванной королем Северии, к которым прикупил еще Батурин с его окрестностями и Конотоп. Теперь он был вполне магнат, или то, что поляко-руссы называли *на всю*

гу бу пан .<sup>4</sup> Но король был им недоволен; иезуиты обиделись; духовные и светские можновладники завидовали; шляхта видела свои надежды обманутыми, а его титулами была разогорчена.

Всего досаднее шляхте было то, что Оссолинский не привез из Рима запрещения всему духовенству приобретать земские имущества. Уже давно ходили в Польше тревожные толки, что духовенству принадлежит в Короне больше имений, нежели королю и дворянству. В недавнее время некоторые монашеские ордена, путем судебных обязательств, получили в Великой Польше по 15, 20 и 30 сел, а под нашим Львовом католическое поповство и монашество приобрело покупкой столько имений, что «если бы надобно было выбрать подсудка, то пришлось бы выбирать монаха или монахиню». Лучшие из католиков были такого мнения, что «безмерное расширение церковных имуществ затрудняет согласие между сословиями светским и духовным, помогает возрастанию еретичества, подкапывает рыцарство и грозит католической церкви презрением, а отечеству руиною... Могут наступить такие времена» (говорили многие), «когда шляхта не будет в состоянии и даже не захочет оборонять

---

<sup>4</sup> Взято с польского *pan sala geba* (*geba* — пот).

духовенство: тогда еретики возьмут себе все».

Но, впусивши козла в огород еще тогда, когда невежество мешало знать его свойства, шляхта не знала теперь, как положить предел его вредоносности. В облегчение «сословия рыцарского» хотели стеснить церковную собственность разными обязательствами. «Речь Посполитая» (твердили поумневшие вотще люди) «окружена со всех сторон грозными неприятелями. Нет у неё других крепостей, кроме шляхетских порогов. Шляхтич должен готовить сыновей к военной службе, покупать вооружение, держать наготове коня, отбывать военную службу на собственном содержании, идти на посполитое рушение и почти всегда впутываться в долги, при этом оставлять хозяйство, во время похода нести значительные траты, издерживаться на воспитание детей, давать приданое дочерям. На его голове лежат пожертвования, монашеские ордена, записи костелам, содержание каплиц и гробовищ, церковные расходы, десятина, литургийная плата (meszne), зерновая десятина (maldraty), выкуп пленников, сеймикование, трибунальные расходы, военные смотры. Духовные же никаких издержек не несут, и потому обростают перьем, скопляют деньги и скупают шляхетские имения. Было бы справедливее, чтоб они от своего достатка уделяли шляхте, а не от шляхты приобретали добра,

которые должны ненарушимо переходить из рыцарских рук в рыцарские, чтоб и Речь Посполитая, и костелы оставались целыми... Республика — хозяйка у себя: может она воспретить ксендзам и монахам приобретение шляхетских имуществ».

Много было всяческих пререканий со стороны противников и защитников духовенства. Защитники успокаивали шляхту законом 1607 года, по которому духовным нельзя ни приобретать светских маенностей, ни держать их за собой пожизненно. Противники отвечали, — что «этого закона невозможно привести в исполнение по причине могущества духовенства, которое не признает его. Да его легко и обойти, потому что, хотя бы закон и ангелы писали, а дьявол в нем лазейку найдет. Вот папа запретил монахам приобретать имущества, а монахи твердят, что под предлогом милостыни (*jalmuzny*) приобретать дозволено».

Дело кончилось тем, что на сейме 1635 года было запрещено всему духовенству приобретать земские имущества. Но сеймовые постановления часто оставались в Польше мертвою буквою. Духовные органы Сейма, епископы, отстаивали сильно свое полное обладание жалким шляхетским народом, и только юридически не устояли против соединенных усилий шляхты.

Король, будучи в согласии с антиклерикалами, настоял и на том, чтобы сейм, не взирая на папу, подтвердил его примирение с малорусскими противниками унии.

В этом случае бессилие общественного мнения в Польше, колеблемого во все стороны, выразилось тем, что маршалом Посольской Избы выбран был не кто другой, как тот же, недавно всех огорчивший Оссолинский, и он-то, главным образом, содействовал сеймовому постановлению относительно юридического спасения шляхты от старательности духовенства.

Но зато его великолепный проект о титулах, сопровождаемых ношением орденского креста на золотой цепи, подложенной лентою, — проект, за который ухватился Владислав для подкрепления своего ничтожного монархизма, сеймующая шляхта отвергла решительно, для сохранения своего гражданского равенства, надобно помнить, только номинального.

С тем же упорством стояло законодательное собрание и против войны, которой жаждал король, мечтая возвратить отчину предков своих, Шведское Королевство, и достояние казако-панского оружия, престол наших Рюриковичей, занимаемый уже 23 года Романовыми, — возвратить с тем, чтобы соединенные силы трех монархий обратить против турок, а в конце концов обессмертить себя

завоеванием Гроба Господня.

Добиваясь высшего и высшего положения в государстве, Оссолинский поддерживал рыцарскую мечтательность короля, и в то же самое время комбинировал всевозможные события в пользу всемирного владычества римского папы. В 1638 году он был наименован коронным подканцлером, а в 1645-м — коронным великим канцлером.

Восходя со ступени на ступень, он, подобно многим счастливым того времени, веровал в свою звезду, ворочал всем законодательным собранием, смотрел на него сверху вниз, и дошел до того, что произносил перед соединенными Посольскою и Сенаторскою Избами такие слова, которые, по выражению его биографа, были «дерзким пренебрежением всего законодательного собрания». Но этим-то и брал он у короля, который постоянно боролся за монархические права свои с сеймовыми представителями панской республики. В 1639 году, из-за его открытой наглости против маршала Посольской Избы, государственный сейм был что называется сорван. По собственным словам Оссолинского, он «карабкался выше и выше по скалам, и преодолел самую фортуна». Немудрено, что такой фаталист политической интриги был вдохновением рыцаря-короля, и держал его до конца под своим пагубным влиянием.

Едва ли не самым лукавым, иначе — самым

глубоким, дипломатическим замыслом Оссолинского было создание в Польше малорусского патриархата, напрасно приписываемое Владиславу. По пословице *ex ungue leonem*,<sup>5</sup> оно похоже больше на изворотливого выскочку-магната, нежели на простодушного воина-короля. Еслиб удалось Оссолинскому облечь Петра Могилу патриаршим саном, то этим самым была бы расторгнута историческая связь польской Руси с востоком, следовательно и с Русью московскою, уния с западною церковью совершилась бы сама собою, и тогда бы оправдалось таинственное обещание короля, что он устроит новую унию, более прочную и могущественную, нежели Брестская, которую нарушил он ради того же Петра Могилы. Один папа, но не киевский митрополит, как у нас думают, был препятствием к созданию малорусского патриархата, который разлучил бы навсегда две русские народности, и сделал бы в истории римской церкви имена Оссолинского и Петра Могилы одинаково великими. Для сохранения церковной традиции во всей ненарушимости, святой отец неумышленно погубил Польшу и, на вечное горе своих поклонников, спас от исчезновения в

---

<sup>5</sup> По когтям узнают льва.

польском элементе Малороссию.

Кстати замечу здесь, что в Риме вовсе не понимали, как стоит у нас униатское дело. Находя немыслимым утвердить малорусский патриархат, папа находил возможным для Петра Могилы и его приятеля, Адама Киселя, среди тогдашнего смятения малорусских умов, объявить себя католиками. В 1643 году он звал своими письмами того и другого на лоно римской церкви.

Да, король был воин, а не политик. Вопреки приемам Оссолинского, который, с именем Господа Бога на устах в добрых и злых поступках, всегда действовал так, что и козы были сыты, и сено цело, он прослыл в Риме «главным опекуном еретиков и схизматиков»; он поссорился из-за унии с папой Урбаном VIII, и вооружил его против себя так, что святой отец велел иезуитам сделать королевского брата, Яна Казимира, членом своего ордена, и собственноручно уведомил о том короля. Владислав был задет этим за живое, и не мог удержаться от слез. Надоело ему наконец возиться с церковными делами. Он предоставил поповское попам, и погрузился в комбинацию борьбы с мусульманами во славу своего, можно сказать казацкого, имени.

С осени 1644 года на папском престоле, вместо Урбана VIII, сидел Иннокентий X, отличавшийся дружелюбием к польскому



воинственному королю. Под его ласковым влиянием, у Владислава ожила с новой силой мысль об изгнании неприятелей Св. Креста из Европы. Осуществлением этой мысли король, очевидно, надеялся дать иной оборот церковным делам в Польше. Притом же он имел в виду ниспровергнуть империю Оттоманов через посредство христианских подданных султана: мечта, сделавшаяся популярною и в казацкой республике со времени пребывания в ней Александра Оттомануса, назвавшего себя крещеным султаничем. Поэтому не следовало ему огорчать константинопольского патриарха и его греков малорусским патриархатом, который нашу церковную иерархию привел бы прямой дорогой к «единости» с церковью римскою. Да и папу надобно было по возможности ласкать уважением церковных традиций, рассчитывая на его денежную помощь...

Григорий XV помогал Сигизмунду III деньгами во все время войны с Османом II и платил ему 10.000 скуди<sup>6</sup> ежемесячно до конца жизни, для содержания военной силы против турок, не считая щедрого пожертвования, сделанного кардиналом

---

<sup>6</sup> Итальянская монета scudo ценилась в 5 франков 35 сантимов.

Бамберини.

Такой же помощи ожидал и Владислав IV от папы Иннокентия X. На письмо свое о пособии получил он ответ благоприятный. Папа обещал помогать полякам, очевидно, в виде подкупа их относительно унии, которая была, как сознается польская историография, — «зеницей ока католической церкви». Посылая в Польшу нунция Торреса, архиепископа адрианопольского *in partibus infidelium*, то есть титулярного или будущего, папа велел ему действовать по предмету соединения церквей тайно даже от короля и примаса,<sup>7</sup> открываясь во всем только трем лицам, Оссолинскому, Селяве и Терлецкому, которые должны были наставлять его, как поступать с примасом, чтоб он помог у короля и стоял за Брестскую унию на сейме.

Этот наказ обнаруживает сам по себе, какого двуличного человека сделал своим наперсником Владислав IV в особе канцлера, и чего надобно было ждать от королевского любимца в решительные моменты внутренней и внешней политики.

Оссолинский придумал способ для открытия

---

<sup>7</sup> Вспомним, что и в Наливайково время примас чуждался церковной унии. (См. выше стр. 108 первого тома).

военных действий против Турции без согласия польской палаты депутатов, называвшейся Посольскою Избою и польской палаты перов, называвшейся Избою Сенаторскою. Король был от него в восхищении.

По плану канцлера, известное уже нам постановление сената об отказе татарам в подарках должно было оставаться во всей силе до полного собрания на сейме обеих законодательных палат. Раздосадованные отказом татары не замедлят вторгнуться в польские границы. Тогда король воспользуется предоставленным ему правом «отвращать от государства опасность собственными средствами», из оборонной войны перейдет в наступательную и займет Крым. Турки станут оборонять свою Татарию. Панам, домогавшимся от короля мира, поневоле придется поддержать честь польского оружия и вторжением в Турцию предупредить повторение Хотинской войны.

Обещанные папою деньги, вместе с его влиянием на католическую партию, устроят остальное. Таков был, в общих чертах, план Оссолинского.

Шляхта, в своем вечном разладе с панамы желала Турецкой войны, подобно её родственникам, казакам, которые постоянно расходились в своих интересах с богатою и мирною

частью населения Речи Посполитой. Оссолинский умел и дома не хуже, как за границей, направлять умы к предположенной цели; но его задушевная цель всегда и для всех оставалась тайною. В качестве великого, то есть коронного, канцлера, он, в сеймовой пропозиции 1645 года, высказался так:

«В обеспечение украинских земель мы основывались на платеже татарам подарков, которые они попросту зовут гарачем. Этот всюду ославленный стыд нашего народа сносили мы еще, пока наша дань утоляла в Орде жажду грабежа и пленения в Польше.

Теперь же, когда весь Крым едва не обратился в разбойничий вертеп тех, которые увозят наши подарки, король предполагает вам на размышление: хотите ли оставаться в таком посрамлении, платя за собственные утраты, или же, уповая на милость Божию, на дознанное счастье и доблесть нашего монарха, на пламенную готовность вождей служить отечеству и на мужество войска, желаете поступить, как велят нам — неизвращенная слава наших народов, безопасность наших братьев, достоинство шляхетской крови и, наконец, свобода стольких душ, кровью Спасителя нашего искупленных, прикованная к языческим галерам на гибель христианства. Не хочет его милость король отдавать на страшном Божием суде отчет в таком множестве своих подданных, отуреченных, Божие

имя ругающих; не желает он также кровавых слез, взывающих к Богу о мщении и прошибающих небеса. Готов он вверенных ему людей заслонить от их несчастья собственной грудью и там искать свободы, откуда приходит неволя».

Польско-русские магнаты, при всей своей гордости, можно сказать царственной, издавна привыкли продавать королям свои услуги за дигнитарства и пожалования.

Владислав задобрил представителя когда-то православных Острожских, Доминика, князя на Остроге Заславского, литовского подканцлера Льва Сопигу, Юрия Скумина Тишковича, Иеремию князя Вишневецкого, Януша Радивиля, а в том числе и фактора продажи, Юрия Оссолинского, раздачею — кому воеводства, кому гетманства, кому города, кому богатого староства. Прочие «дуки» польской олигархии должны были ждть и дослуживаться такой же раздачи. Но кроме дигнитарств и королевщин, у Владислава в руках были еще римские скуди, которые было предположено делить между пособниками Турецкой войны. Победитель московской рати покупал у панов, под видом помощи, косвенное позволение выступить на новое поприще военной славы, и фактические государи Польши обещали явиться к титулярному королю своему с контингентами, как союзники. Когда татары будут отражены и прогнаны, в чем, после

Охматовского поражения, не сомневался никто, победители «на их шеях» въедут в Крым; но то будет уже не войско Речи Посполитой, а хоругви польских панов: различие, с польской точки зрения, существенное. Всем будет казаться, что воюет не король, не Королевская Республика, а Заславский, Радивил, Вишневецкий и другие по собственной воле (на swoja reke), без ведома и дозволения короля в отмщение за татарский набег на *их владения*. Этим же способом крымские ханы не раз высылали в Польшу своих мурз; не один раз и Порты, повелев хану вторгнуться в Украину, оправдывалась потом, что случилось это без её ведома. А чтобы турки не помогли татарам, казаки, с позволения коронного гетмана, пойдут на Черное море и не допустят галер турецких в Крым.

В ожидании папского ответа касательно 500.000 скуди ежегодно на два года, король поставил отдать Москве город Трубчевск и звать ее к совместным действиям против татар, а из Турции придет к нему известие, лишь только загорится война с Венецией.

Ведя свои дела по обдуманному таким образом плану, король мог обойтись без постановления сейма. Довольно было для него — согласия обоих канцлеров, коронного великого гетмана да нескольких первенствующих панов.

Весною 1645 года ожидаемая

Турко-Венецианская война вспыхнула, и в конце апреля турецкий флот в 348 кораблей вез уже сильное войско, сухопутное и морское, для завоевания острова Крита, считавшегося оборонными воротами Венеции.

С другой стороны хан Ислам-Гирей, не получив гарача и сведений об универсалах, которыми король побуждал свою Республику к войне с татарами, просил у турецкого султана так-называемого *эмира*, то есть дозволения вторгнуться в Польшу со всеми крымскими, ногайскими и буджацкими ордами.

Султан подозревал волошского господаря в неверности, боялся, чтоб король не поддержал его и не соединился с Москвою против татар, как об этом носился уже слух в Турции. В июле прислал он хану просимый эмир.

Король спокойно вызывал татарский набег, так как недавно получил известие, что новый хан не совладеет с собственными подданными. Трудно было предвидеть, что султанский узник, освобожденный по прихоти полупомешанного деспота, разыграет вместе с завзятым казаком столь важную роль в пользу московской царственности, какую готовился разыграть интриган канцлер с послушным ему королем в пользу всемирного владычества римского папы. Но Ислам-Гирей был не таков, каким воображали его в Польше.

Ориенталист

Гаммер-Пургшталь

рассказывает, что, привезенный из заточения на острове Родосе в Стамбул, не знал он, что его ждет, и был принят грозным в своем полуисступлении султаном над купальней (в июне 1644). «Смотри, Ислам», (сказал полураздетый Ибрагим) «я сделал тебя ханом. Отныне будь другом друзей моих и врагом врагов моих. Кроме моего слова, не слушай никакого другого. Сколько тебе лет»? — «Сорок» (отвечал новонареченный хан). «Но хотя только-что начал я садиться на седло, надеюсь править моим боевым конем хорошо на службе падишаха». Тут на него накинули соболью шубу, опоясали дорогой саблею, и царственный Гирей, гордый внушением султана, обратился к великому визирю с такими словами: «Так как вы сделали меня ханом, то надеюсь, что будете поступать по моим просьбам и не станете давать мне наказов, обращаться с неверными. Между мной и ими сабля». — «Да правит Аллах тобою! Мы не будем в это вмешиваться», отвечал визирь.

Прибывши в Крым, Ислам-Гирей обезглавил своих врагов, отправил в Польшу послов за гарачем, а часть мятежной Орды послал в Московию, под предводительством своих приверженцев. В числе их находился и поляк Свидерский, которого татары звали Сяус. Но спокойствия в Крыму новый хан восстановить не



мог. Сторонники бывшего хана ушли на Буджаки, и ждали возвращения своих из похода, чтобы низвергнуть Ислам-Гирея. Видя грозящую опасность, испросил он у султана эмир, по которому все орды должны были идти под его бунчуком в Польшу.

Известие об этом могло прийти в Варшаву не раньше половины июля 1645 года. Орда обыкновенно набегала в начале января, если не по первой траве: оставалось полгода на приготовления к отпору.

Король тотчас послал повеление строить чайки, чтобы весной 1646 года, в отмщение за «неожиданный» набег татар, они могли появиться на море; коронному великому гетману велел (в августе) написать к визирю, что если татары осмелятся вторгнуться в Польшу, то он покроет Черное море казацкими чайками; воеводе Мстиславскому приказал отдать немедленно Трубчевск царю, а послу своему в Москве велел предложить ему союз для соединения вооруженных сил обеих держав против татар.

Недавно наследовавший своему отцу молодой царь, Алексей Михайлович, назначил в Варшаву великих послов с наказом трактовать с королем о войне с татарами.

Одновременно с вестью о близком вторжении Орды прибыл в Польшу венецианский посол

Джиованни Тьеполо с просьбой о помощи Венеции. Именно просил он, чтобы король, для разъединения турецких сил, повелел казакам идти на море и выжечь на побережьях заготовленный лес и галеры, которые строили из него турки.

Владислав знал этого венецианца, как приятного человека, еще во время своего путешествия по Европе. Потом Тьеполо приезжал в Польшу послом и ознакомился с этим государством. Джиованни Тьеполо был представитель одной из древних и знатнейших венецианских фамилий: предок его был дожем; а знатность рода поляки ценили выше всего.

Владислав слушал посла весьма благосклонно; обещал употребить всю свою власть и «повагу» для того, чтобы как можно скорее угодить Венеции; сожалел, что наступающая зима не позволит казакам идти на море, и при этом сказал, что должен еще посоветоваться с коронным гетманом и с канцлером.

Оссолинский также выразил свое усердие: секретно уведомил посла, что король готовит войну против татар; что может предпринять ее, не созывая сейма; что послал к папе с просьбой о денежной помощи, и теперь ожидает нетерпеливо прибытия нунция; наконец спросил дружески: не может ли и Венеция в предстоящей войне помочь какою-нибудь суммою? Татарская война (говорил

он) принесла бы ей немалые выгоды. Но Тьеполо отвечал, что не имеет от своего правительства поручения трактовать об этом предмете.

Между тем султан Ибрагим, испуганный письмом Конецпольского, послал (в конце сентября) к хану гонца с повелением не вторгаться в Польшу. Вместо того, позволял ему воевать Московское царство.

Папа денег не прислал, потому что не имел, а тут пришли вести о претерпенных венецианцами поражениях и неожиданных турецких победах. Венецианская крепость Канея была взята, а с нею и весь остров Кандия, древний Крит, передовой редут Венеции со стороны турок, очутился у них в руках. Опасность грозила всей Италии.

Это подало канцлеру мысль, чтобы 500,000 скуди, которых король просил у папы, заплатили итальянские князья вместе с папою, в виде благодарности за помощь Италии в её опасном положении. И потому, когда нунций и Тьеполо просили его о немедленной отправке казаков на море, Оссолинский объявил, что король, глядя на дело Венеции, как на свое собственное, предполагает подать ей более действительную помощь, нежели казацкий морской поход, и открыл им замысел Владислава воевать с Турцией.

Но, так как наступательной войны король, без согласия сейма, предпринять не может, то будет

вести войну оборонительную, под предлогом освобождения государства от татарских набегов, из чего, очевидно, возникнет война наступательная: ибо турки, будучи вынуждены помогать Орде, тем самым заставят поляков дать им отпор на Черном море. Этак незаметно начнется открытая война, не подвергая короля со стороны сейма упрекам в нарушении мира и ломанье присяги. Но на войну с Ордой и на вооружение многочисленного войска казацкого королю нужны деньги, а потому желает он, чтобы папа, Венеция и князья итальянские в течение двух лет заплатили миллион скуди, «с тем чтобы поделить эти деньги между можновладниками». Речь свою канцлер завершил просьбою обдумать королевское предложение и представить его своим дворам, так чтоб это дело получило твердое решение и конец. С своей стороны король написал в Венецию и еще однажды к папе.

Тьеполо уведомил венецианский сенат о плане канцлера, но, должно быть, не очень поддерживал его, так как объявил немедленно, что война с татарами не подлежит решению Венеции.

Между тем пришли в Варшаву несомненные известия, — что оба государя, волошский (молдавский) и мультянский (валахский, Мультания (Румыния), восточная части Валахии, располагавшаяся между реками Дунай на востоке и

юге и Олт на западе) постановили воспользоваться Турецко-Венецианскою войною для того чтобы свергнуть с себя мусульманское иго; что они послали с этою целью к королю послов; что греки, болгары и другие завоеванные турками народы замышляют восстать, и, наконец, что московский царь отправляет посольство в Польшу для заключения союза против татар.

Эти известия подвинули Владислава на дальнейший шаг. В начале октября, через несколько дней после последнего совещания, уведомил Оссолинский венецианского посла и папского нунция, — что султан запретил хану вторгаться в Польшу, и потому предлог к войне с Ордой отменяется, но что на то место вскоре прибудет от московского царя посол, уполномоченный заключить с Польшею союз и предложить ей великую вооруженную силу; что волохи и мультяны постановили свергнуть турецкое иго, и что, при таких обстоятельствах, появление короля на границах Турции вызвало бы в ней великое смятение, которое было бы сигналом широкой войны с Портою, лишь бы Венеция без отлагательства дала потребные на то средства... «Тогда мы» (говорил канцлер) «оставим царское войско с горстью наших против татар, а сами с союзниками приблизимся к Дунаю, а в то же время пихнем толпы казаков к Царьграду».

Эти слова воспламенили венецианца. Тотчас пишет он к своему сенату, чтобы безотлагательно решались действовать в интересе столь великой важности; сам же, не теряя времени, на собственный риск, договаривается с Оссолинским, и предлагает от имени Венеции ежегодно по 500.000 талеров на два года. Польша и по истечении двух лет будет нуждаться в помощи; поэтому желал Оссолинский знать: может ли дожеская республика заключить с королевской республикой наступательно-оборонительный союз? Что же касается похода на Черное море, советовал послу, чтобы постарался снабдить коронного гетмана деньгами для поощрения казаков.

Это были предварительные переговоры, в которых король не желал принимать участие, дабы не открывать своих мыслей и не связывать себя каким-либо обещанием до получения ответа из Венеции. Несколько раз повторял он венецианскому послу, что было бы очень хорошо, когда бы королевская власть в Польше соответствовала его добрым желанием; что все зависит от решения Рима, Венеции и князей итальянских; что не имеет права объявить наступательную войну, и что указанный предлог войны с татарами был единственным способом открыть ее; казацкий же поход откладывает он до совещаний с коронным гетманом.

Все внимание короля, по-видимому, было сосредоточено на Москве. Сведав, что хан получил дозволение вторгнуться в её пределы, немедленно уведомил он о том царя, а брацлавский каштелян Стемпковский, королевский посол при царе, заключил с ним оборонительный союз, которым король обязался, по первому известию от московских воевод о вторжении татар, выслать войска свои на помощь Москве, что для неё было бы важной услугою в тогдашних обстоятельствах.

Ислам-Гирей, успокоив мятежи в Крыму, отправил в декабре 1645 года в Московию 30.000 отборной Орды, под предводительством брата своего, Нурадин-султана (второго соправителя), «чтоб он поздравил нового царя». Нурадин побил, как было слышно, московских воевод в Рыльском уезде, разбил царскую рать и три недели опустошал пограничные области между Путивлем, Рыльском и Курском, гоня бесчисленное множество скота перед своими чамбулами. Коронный полевой гетман, Николай Потоцкий, по повелению короля, выступил с 15.000 войска в помощь Москве: но, по причине страшных морозов, польское войско с трудом добралось до реки Мерла; оттуда не могло двинуться дальше и с большими потерями в людях и лошадях вернулось печально домой. Так пишут поляки. Но страшные морозы не помешали Нурадин-султану сделать удачный набег и прийти в

Крым с ясыром и скотом. Он отправил к царю гонца (говорили в Польше) с требованием десятилетней дани; в противном случае грозил, дав отдохнуть коням, через 40 дней вновь опустошать Московское царство.

Когда полевой гетман вступил на помощь Москве, великий гетман прибыл в Варшаву. Он был уже старик, но рассудил за благо жениться вторично, и ехал для того в имение Опалинского, Рытвяны. Однакож, постоянно думая о войне с татарами и завоевании Крыма, хотел утвердить короля в его предприятии, представить свой проект и защищать его лично, так чтоб этот проект был регулятором переговоров с московскими послами, которых вскоре ожидали. Кроме того, вез он королю важные известия, которые могли дать замыслам его другое направление.

О проекте Конецпольского было говорено у меня поверхностно. Здесь представляю его в полном виде, как документ великой важности в оценке польско-московской взаимности.

Коронный великий гетман, в присутствии нескольких дружественных сенаторов, прочел королю и канцлеру свой «Dyskurs об уничтожении крымских татар и о союзе с Москвою», состоявший в следующем:

«Относительно вооруженного союза с Москвою против татар, кто не видит, как этот союз



нужен ей и приятен, особенно теперь, когда Орда уничтожила почти половину царства? (Это было написано по-польски и для поляков, которых надобно было предрасположить в пользу проекта) Счастливые бы настали времена, когда бы Таврику заселили христиане, прогнав язычников, что совершенно нетрудно.

Давно я оборачивал в своей голове это дело: но, глядя на его легкость, тотчас вижу и трудность, зная, как мы привыкли относиться к общественному благу. Нам жаль и этого малого гарнизона в Украине, а, пожалуй, и на Кодаке: еще больше было бы жаль того, чем бы надобно было удержать Крым.

Поэтому было бы лучше предоставить Таврику Москве, получив от неё за то помощь и вознаграждение из соседних областей. Москва сумела бы наверное заселить и держать ее, основав, по своему обычаю, колонии. Тогда вернулся бы к ним Азов, а турецкие войска не могли бы к ним ходить сухим путем, а хоть бы морем и пришли, то москали, снабдив гарнизоном четыре порта, были бы безопасны, чего не было бы с нами, потому что, если бы мы взяли и держали Крым, тогда бы война велась не в Крыму, а в Польше.

Но когда примем в соображение врожденную зависть Москвы к нашему народу и дознанную скользкость её верности, то это дело представляется

весьма опасным (*res periculi plena*). Ибо, заселив это место, Москва привлекла бы к себе все христианство, прилежащее к Эвксинскому Понту и Азовскому морю; потянула бы она и татарские Орды, которые бы отделились уже от турок, и могла бы ими быть нам тяжелою. А что еще больше, живя в таком близком соседстве с казаками, кто знает, не оторвала ли бы их от нас и верою, и надеждой добычи (*spre praedae*), а потом — и всей Руси.

Думая потом несколько лет, каким бы способом обезопасить себя с этой страны, напал было я в мыслях на один способ: женить королевича (Яна) Казимира в Москве, под условием, чтоб ему Москва отдала, в виде приданого (*ratione dotis*), некоторые соседние с той страной области, дала бы помощь для завоевания Таврики, и до тех пор ее держала, пока бы он там не утвердился (*pokiby sobie nie ugruntowal sedem*), в чем приняла бы участие и наша Речь Посполитая. Часто беседовал я об этом с моими приятелями, не желая о том заводить речь выше, так как у нас все считается невозможным. Теперь же, когда королевич (Ян Казимир) принял другое положение,<sup>8</sup> а королевич Карл<sup>9</sup> верно бы на такой

---

<sup>8</sup> Т. е. поступил в орден иезуитов.

брак не согласился, особенно там, где так трактуют женихов, других же особ не представляется, — едва ли не лучше (*satius*) было бы иметь в Крыму подозрительного приятеля москаля, нежели явного неприятеля язычника.

Ибо, что касается усиления Москвы новозавоевательными народами, то и ныне эти народы находятся во власти язычников, и однакож Господь Бог Речь Посполитую держит, а сильнейшие должны быть (в союзе) с сильнейшими (*fortiores cum fortioribus*).

Москва же волей и неволей расширяется, и их непременно бы за собой потянула. К тому же, будучи с нами в союзе, имея также что делать и с турками, которые бы такую *яктуру* не оставили без внимания, уповаю, пребывала бы в приязни с нами, которые бы ей в том помогли.

Нам же легче было бы иметь дело с турками: потому что, когда бы татары были от них отделены, тогда бы, без всякого затруднения, сделали мы своею границей Дунай, шагнули бы и дальше. К этому же есть у нас способы. За Крым вознаградили бы нас Волошская и Мультианская земли, а то, пожалуй, и Седмиградская, провинции столь же богатые, которые бы могли сами собою вести войну

---

<sup>9</sup> Другой брат Владислава, Карл Фердинанд.

с турками, вследствие чего отечество наше было бы и безопасно извне от неприятеля, и свободно внутри (*in visceribus*) от контрибуций и от своих войск (подразумевается, столь же вредоносных, как и неприятельские).

Все-таки надобно бы осторожно предлагать это москалям. Они по природе горделивы (*pyszni*), упорны и в каждый предмет привыкли вникать основательно (*w kazdej rzeczy zwykli sie zasadzac*). Поэтому было бы невыгодно предоставлять им в обладание Крым тотчас сначала, а надобно только требовать от них помощи. Потом, когда б они держались (в Крыму) крепко, уступить им (Крым) таким способом, чтоб они дали Речи Посполитой за помощь какую-либо сильную область, чтобы обязались спасти (*ratowac*) нас от турок, всякий раз когда в том будет надобность, и договор с нами сохраняли ненарушимо. Я не теряю надежды, что когда б это дело повели искусно и достойным образом (*decenter*), то они, в нынешней кручине своей, глядя на свои обширные области, дымящиеся после пожаров, и на пленение такого множества душ христианских, ухватились бы за случай к отмщению».

Такова была мысль, которою Конецпольский, можно сказать, завершил свою достопамятную деятельность. «*Dyskurs*» его можно назвать духовным завещанием глубокомысленного и

честного гражданина, оставляющего свое отечество в руках людей легкомысленных и любящих только себя. Как бы предчувствуя, что после него будет коронный поистине «великий гетман», как и его предшественник, уверял в счастливом окончании задуманного им дела под условием, что к войне с татарами приступят не так, как ухитрился оиезуиченный канцлер с подчинившимся ему королем, а «искусно, законно, соответственным способом и порядком», то есть с ведома, согласия и одобрения Королевской Республики.

Вслед за этими словами, обеспечивающими будущность Польши, из его уст излилась похожая на грозящие письма Валтасарова пира весть, — что казаки, «раздосадованные невозможностью ходить на Черное море, откуда они бывало привозят много добычи, и убедясь в своей бессилии восторжествовать над панами», стали недавно трактовать с татарами, обещая поддаться хану, лишь бы он искренно помогал им воевать «ляхов». Имя Богдана Хмельницкого, как творца нового бунта, долго не было еще произнесено. Это показывает, что он воспользовался многолетней работой других и могучим течением событий.

## Глава XII

*Два различные плана войны с Турцией. — Смерть великого воина и патриота. — Секретные сношения короля с казаками. — Лады у Москвы с Польшею. — Мечты короля о завоеваниях. — Сношения с иностранными дворами по предположенной войне. — Вооружения короля. — Оппозиция сторонников мира.*

Реляция Конецпольского о казаках не испугала короля; напротив, она послужила ему новым доказательством необходимости Турецкой войны. Добиваясь поприща для великой славы, Владислав созвал сенаторскую раду. Нунций и венецианский посол объявили на ней свою готовность доставить часть суммы, потребной для казацкого похода на море. Конецпольский не одобрял трактатов с Венецией, Римом, итальянскими князьями, а чтобы воевать одновременно и с турками, и с татарами при таких субсидиях, каких желал канцлер, об этом не хотел и слышать.

Он советовал отменить условия, предложенные Оссолинским, и настаивал, чтобы заинтересованные князья доставили сразу миллион скуди, а кроме того платили по 500,000 скуди ежегодно в течение трех лет, так как оттоманская сила вся обратится на Польшу. Только на таких условиях соглашался Конецпольский держать совет

о войне с Турцией. Относительно же казацкого похода отвечал венецианскому послу, что сжечь 200 турецких кораблей в самих верфях значило бы покушаться на дело трудное и чрезвычайно опасное. Но против казацкого похода не возражал, и кончил свою речь тем, что король и канцлер дадут ему окончательный ответ сообразно течению дел. С этим он и уехал из Варшавы к своей невесте, панне Опалинской, с которой обвенчался в январе 1646 года.

Теперь король настойчивее прежнего стал торопить богиню случайностей, которой одной поклонялся. Теперь он согласился на казацкий поход, о котором Тьеполо просил его до сих пор безуспешно. В начале января состоялся договор, по которому, с открытием весны, казаки должны были выйти в море на 40 чайках. Тьеполо обязался уплатить им 20,000 талеров тотчас, а остальные 40,000 в течение двух лет, ежегодно по 20,000. Король обещал привести в движение все пружины, чтоб уничтожить лес, галеры и даже верфи в Стамбуле.

Не знал Владислав IV во что играет. Определенного плана действий у него не было. Во всем он полагался на фортуна, которая вскружила ему голову еще в детстве.

Канцлер надувал его парус то с одной, то с другой стороны, но думал всего больше о том,

чтобы, в случае крушения, обезопасить лично себя. Различие между его внушениями и советами Конецпольского состояло в том, что он рассчитывал на итальянский союз и на приданайских князьков; а коронный гетман желал опираться на собственные силы и соединиться с москалями. Коронный гетман советовал завоевать сперва Крым и поделиться им с северными соседями, как будто знал, что без этого Крым сделается жерлом пожаров и руины для страны, которую предки его, Конецпольские, начали колонизовать с XIV столетия. Не прочь был он служить королю и в войне Турецкой; но происходившие до тех пор переговоры по этому предмету не удовлетворяли его.

Он был против какого бы то ни было оборонительно-наступательного союза; не доверял итальянцам; боялся, чтобы, при обстоятельствах, для них благоприятных, не помирились они с турками и не оставили Королевской Республики без помощи. По его мнению, действительным обеспечением польского рыцарства от купеческого вероломства была бы только уплата вперед миллиона дукатов и по полумиллиону в течение трех лет.

Но самым выразительным различием между планами коронного гетмана и коронного канцлера было то, что гетман предлагал войну законную,



предпринятую с согласия Речи Посполитой, а канцлер не обращал внимания на средства, лишь бы достигнуть цели. Оссолинский знал, что на войну с турками Речь Посполитая не согласится ни в каком случае, а на войну с татарами согласилась бы без затруднения.

Это различие во взглядах сделалось причиной неприязни между канцлером и гетманом, выразившейся в колком письме Оссолинского Конецпольскому.

1645 год еще не вполне благоприятствовал замыслам короля; зато в первые месяцы 1646-го приходили одна за другою вести, побуждавшие его к окончательной решимости.

По утрате Канеи, Венеция показала столько энергии, что в течение нескольких месяцев, к удивлению всего света, выставила для борьбы с Турцией 53 галеры, 6 галиотов для бомб, 40 больших вооруженных кораблей, 4 бандера и значительное число мелких судов. Венецианская синьория постановила — не дать турецкому флоту вернуться для обеспечения своего завоевания в Кандии, где турецкий гарнизон в Канее начинал уже бороться с недостатком съестных припасов.

Тьеполо получил благоприятный ответ на предложение короля. Синьория назначила для Польши 600,000 талеров на два года, по 300,000 ежегодно, вместо ежегодных 500,000, которых

домогался король от папы и князей итальянских. Но Тьеполо, на собственную ответственность, уменьшил эту сумму, и сказал королю, будто сенат назначил только 400,000 скуди, по 200,000 ежегодно, после чего прекратит платеж, и синьория будет свободна от всяких обязательств.

Король согласился в принципе и на эти условия, в надежде, что недостающую сумму пополнит папа с итальянскими князьями, в виду страшных приготовлений турок на суше и на море.

С делами внешней политики тесно вязались у Владислава домашние дела, которых печальная сторона для нас виднее, чем для современников.

Французские придворные дипломаты, в соединении с польскими хотели сперва женить его на французской принцессе Марии Людвики Гонзага, княжне мантуанской, превознося до небес её небывалую красоту и преувеличивая до миллионов её довольно скромные доходы. Но влиятельный при французском дворе капуцин, Валериан Магни, при деятельном участии Оссолинского, повернул дело так, что Владислав избрал в подруги жизни Цецилию Ренату, дочь Фердинанда II австрийского. От этого брака родился у него сын, которому, как думал отец, было предназначено воспользоваться новыми завоеваниями поляко-русов. Не долго жила на свете королева, и едва разнеслась весть о её смерти,

как перед царственным вдовцом явились агенты европейских дворов с портретами принцесс, предлагая на выбор любую. Король по политическим соображениям, предпочел всем ту самую Марию Людвику Гонзага, от которой отвлекли его усердные советники. Важную роль в этих соображениях играло то обстоятельство, что княжна мантуанская производила свой род от Палеологов, и что астрологи, по сочетанию планет, предсказывали ей престол Восточной Империи.

Тот же самый Оссолинский, который в 1637 году женил его на Цецилии Ренате, называя себя «простою глиною, из которой король мог лепить что-угодно», — в 1646-м помог сделаться польскою королевой Марии Людвики, все-таки прославляемой красавицею. Незадолго перед её прибытием в Польшу, до короля дошел слух о её тайном романе, в котором она компрометировала себя открывшеюся случайно перепискою. Это обстоятельство, вместе с её 34 годами и увядшей красотою, так поразило Владислава, что он не мог скрыть своего отвращения и в торжественной встрече нареченной королевы польской. Однакож заставил себя доиграть роль осчастливленного паладина, и мужественно выслушал речь своего Мефистофеля-канцлера, который приветствовал королеву, как цветущую лилию Франции, чудесно пересаженную Владиславом в свой вертоград среди

морозной зимы; как венец, украшающий собранные им отовсюду лавры; как залог возвращения могущества Палеологов; как сочетание богов, оправдывающее сочетание планет; как надежду рождения новых победителей от победительницы защитника всего христианства.

В марте прибыли в Варшаву послы волошские и мультянские, под тем предлогом, что поздравляют короля со вторым браком, но в сущности для того, чтобы трактовать о Турецкой войне. Вслед за ними прибыло наконец и посольство московское, для договора о войне с татарами.

Свадебные празднества заставили отложить на некоторое время все политические дела. Варшава закружилась в танцах. Женидьба единственного сына Оссолинского совпала с пиршествами королевскими, и увеличила национальную манию гостеприимства, в котором поляки не дали превзойти себя ни одному народу. Но когда опьянели до забвения всего на свете действующие лица приближающейся трагедии, — их отрезвила неожиданная весть о смерти великого воина и патриота. Станислав Конецпольский скончался, едва пережив свой медовый месяц.

Беспощадная в своей иронии судьба Польши соединяла не раз великое со смешным нераздельно: новый Александр Македонский, счастливый супруг

прелестной, как цветущая лилия, принцессы, не вставал с брачного ложа от подагры, и плакал о смерти своего Гефестиона в подушках.

Плакало в Польше о смерти Конецпольского многое множество людей и получше короля Владислава. В наше время, когда панегирики стоявшим на политических высотах людям вышли совсем из моды, и когда поляки нередко изрекают суровый приговор над знаменитыми своими предками, польская историография следующими словами характеризует почившего навеки строителя Королевской Республики:

«Это был великий гражданин, счастливый воитель и знаменитый хозяин. Щедрый от благоразумия, благотворительный от сострадания, полный огня и таланта, деятельный, мужественный и слову своему верный, в сохранении тайны точный, в дружбе непогрешительный. Гнушался он лезть, уважал отечественные законы и обычаи, а своим доблестям придавал еще больше блеска великою ученостью и остроумием».<sup>10</sup>

Общественное мнение о нем выразилось в глубокой горести множества людей, которые в смерти его, даже в составе его имени *Конец-Польский* суеверно видели конец

---

<sup>10</sup> Слова Д-ра Кубали.

Польши.<sup>11</sup> Но из всех предвещателей страшных бедствий, которые чуяло собирательное сердце нации по заходе светила польской чести и доблести, никто не предсказал грядущего так верно, как волошский господарь, будущий сват и жертва кровавого Хмельницкого.

«Я считаю смерть его за величайшую для христианства утрату» (сказал он) «и могу только оплакивать его со всем моим народом. Вы, поляки, еще не знаете, что вы утратили, но не пройдет двух, а найдальше трех лет, когда не только вы, но и все христианство будет горевать о потере столь великого сенатора и полководца».

Король веровал, что один Конецпольский мог отвлечь казаков от их руинных подвигов и направить эту дикую силу к государственной пользе. Лишь только миновал в нем первый припадок горя о потере друга, которого только теперь оценил он по достоинству, и военачальника, которого заменить кем-либо было немислимо, — он отправил гонца к Днепру, разузнать, что делают казаки. Тьеполо писал в Венецию, что Владислав «оставался между страхом и надеждою, что теперь будет, и признался ему, что боится (казацкого)

---

<sup>11</sup> Имя Koniecpolski, разделенное пополам, буквально значит по-русски Конец Польши.

бунта, который все уничтожит».

Королевским гонцом был Иероним Радзеёвский, впоследствии польский эмигрант и предатель, рассказывавший в Париже о своей поездке в Украину французу Линажу, автору известных записок о бунте Хмельницкого. Это был hono novus между польскою знатью, как и Оссолинский; но разницу между ними составляло то, что источник, из которого вытекла его пройдошеская душа, был мутен. Главными заслугами, поднявшими его отца из средней шляхты на степень воеводы и сенатора, были подвиги старопольского гостеприимства. В его имении Радзеевичах, в семи милях от столицы, стояла знаменитая корчма на 200 лошадей, с дворовыми строениями на 1000 гостей, с десятком или более пушек, сопровождавших своим громом панские виваты, с неисчерпаемым винным погребом и с отличною кухнею. Там сановитый пан Радзеёвский предлагал усладительный отдых заграничным и земским послам, равно как и членам Сенаторской Избы. Там Сигизмунд III и Владислав IV гостили по нескольку дней с рядом. Не было во всей Польше таких веселых, обильных и свободных пиров, как в Радзеевичах, и вот почему сын достойного родителя, Иероним, сделался любимцем короля Владислава. Впрочем он получил изысканное воспитание, владел несколькими

иностранными языками, говорил смело и плавно, знал то, что называли тогда историей, знал польские законы, вернее сказать — казуистику, и при этом — теорию военного искусства. Но всего глубже изучил он при дворе важную в панской жизни науку интриги, и в 1645 году был избран маршалом Посольской Избы, то есть умел показать себя достойнейшим представителем палаты депутатов. В этом звании выступал он против королевского правительства; но сам король руководился такими сбивчивыми правилами в выборе людей, что отправил его в Украину по секретному делу величайшей важности.

Иероним Радзеёвский уехал из Варшавы под предлогом осмотра имений жены своей. Оставшись молодым вдовцом после первого, весьма выгодного брака, сумел он жениться на княжне Евфросинии Вишневецкой и, что еще замечательнее, отбить ее у пана Денгофа, с которым она была обручена. Её-то *вено* поехал он осматривать в Украине.

Был у него там старый знакомый, войсковой есаул, Иван Барабаш, сын Димитрия, гетманившего казаками в 1617 году. Этому Барабашу отдал он «королевские листы», в которых король уверял, что казакам будут возвращены их «прежние права». Барабаш уведомил о том дружественных казаков, и в том числе кума своего, Богдана Хмельницкого, войскового писаря, пользовавшегося большою



популярностью в казацкой среде. Четверо войсковых старшин отправились немедленно в Варшаву, именно: Иван Барабаш, Илья пли Ильяш, известный между казаками под именем Вирмена (армянина), а между панами — под именем Вадовского,<sup>12</sup> Нестеренко и Богдан Хмель, которого паны, для польского благозвучия, именовали Хмельницким. Радзеёвский рекомендовал Хмельницкого особенному вниманию короля, как бы оправдывая древнюю пословицу: «подобный подобному нравится».

С этими представителями Запорожского войска Владислав совещался ночью, в присутствии только семи лиц, которых казаки, в своих показаниях, называли сенаторами, принимая за польского сенатора и самого Тъеполо. Он повелел казакам быть готовыми к сухопутному и к морскому походу, но против какого неприятеля, не обозначил. Казаки предлагали ему к услугам 50.000 войска, «а повелит король» (говорили они), «то, по его мановению, станет нас и 100.000». За это король обещал им вернуть «старые привилегии», увеличить число реестровиков до 20.000 и не позволять польским хоругвям «лежать на лежах»

---

<sup>12</sup> Шляхетская фамилия Вадовских существует в Варшаве и ныне.

дальше Белой Церкви.

Говорили в Польше после катастрофы, что король, давая казакам обещания, утаил это от своего канцлера, а Радзеёвский (по словам Линажа) рассказывает в Париже, что роковую тайну знали только четыре сенатора. (Это напоминает нам Стефана Батория, доверившего свой замысел о Турецкой войне только четверем панам). Как бы то ни было, но совещания польского короля с казаками представляют вид заговора против республиканского государства. В позднейшей обвинительной записке, известной под заглавием: «Полезьа Канцлерских Советов (Compendium Rad Kanclerza)», этот заговор взваливали на Оссолинского; писали даже, будто казакам тогда шепнули, чтоб они свергнули свое иго (excutiant jugum). Но мудрый последователь апостолов Лойолы во всех случаях, где чувствовалась личная ответственность, не оставлял явных следов своей прикосновенности к делу. Он мог и руководить заговором, и в то же время держаться в стороне от заговорщиков. Сигизмунд III и его советники, иезуиты, поступали не в одном случае по правилу; в случае успеха своевольников, воспользоваться успехом; в случае неуспеха, являться перед светом с омовенными руками. Этому правилу в настоящем случае мог следовать и Оссолинский.

Одновременно с таинственным пребыванием

Хмельницкого в Варшаве велись переговоры и с послами того государства, которое, по праву возмездия за свое разорение, воспользовалось результатами готовящейся в Польше усобицы. Московских послов было четверо, и во главе их стоял царский дядя, боярин Василий Иванович Стрешнев. Он отличался прекрасною наружностью и такими же «обычаями».

Литовский канцлер говорит в своем дневнике, что «не видал еще у москалей большего рационалиста и политика». Посольство это приехало для подтверждения Поляновского договора с молодым царем Алексеем Михайловичем, и, как доносил королю Стемпковский из Москвы, имело наказ трактовать секретно о союзе против татар.

Московские сановники не захотели принять участие в свадебных пиршествах, чтобы не сидеть на последних местах в ущерб чести своего государя, поэтому заболели все четверо, и явились только на аудиенцию 24 (14) мая.

Король назначил пять сенаторов, под управлением обоих канцлеров, для rozgowogu с ними. Но представители Москвы не упоминали о союзе и не домогались аудиенции секретной, очевидно выжидая почина от сенаторов, или от короля.

Не дождавшись этого от польских

дипломатов, Стрешнев заговорил о необходимости согласия между христианскими государями, и объявил царскую волю заключить с королем договор против татар, которые набегают ежегодно на оба соседние государства и тысячами уводят христиан в неволю. Речь свою закончил он такими словами:

«Ведомо учинилось нашему великому государю, что турецкий султан, Ибрагим, побежден от Венетов, и что турецкие войска обсадили критскую Канею, а теперь осада их погибает от голода: затем что султан помочи послать не может. Тот же султан, желая построить сто новых галер, не имеет способных людей, и для того послал к крымскому хану, чтобы шел тотчас на Московское царство да на Польское королевство и набрал бы невольников на новые галеры. И теперь самое время, чтоб оба великие государя соединились для обороны веры. Наш государь крепко мыслит о том, чтобы соединиться с вашим государем. Послал он войско для обороны своих украин, под начальством бояр, князя Никиты Ивановича Одоевского да Василия Петровича Шереметева. Если татары пойдут на королевскую Украину, то великий наш государь желает помогать королю своим войском соединенно с войсками королевскими. И вам бы, радные паны, надлежало мыслить о том, и короля вашего приводить к тому, чтоб он, для избавленья

Христианства в это столь удобное время, благоволил отворить Днепр и повелел днепровским казакам с донскими казаками воевать крымцев, а гетману своему повелел бы, чтоб он стоял на Украине в готовности и с царскими воеводами ссылался бы, как обоюдно становиться против татар и в каких местах соединяться».

Сенаторы отвечали: «Мы от всей души тому рады, и молим Бога, чтобы благословил десницы обоих монархов, поднятые над головами язычников».

Когда, после заседания, доложили королю, он обрадовался чрезвычайно. Но созванный на другой день совет министров постановил, выведать сперва у послов, имеют ли они полномочие трактовать об этом предмете.

Послы объявили, что им дан только словесный наказ. Тогда коронный канцлер сказал им, — что сенаторская рада откладывает это дело до посольства, которое король и Речь Посполитая отправят в Москву.

Послы поникли головами и, вернувшись в свое жилище, тотчас послали к царю гонца.

Московский царь желал того самого, что и польский король: желал воспользоваться Венецианскою войной и завоевать Крым. Когда Стрешнев ехал в Польшу, война с татарами была в Москве делом решенным. Князь Семен

Михайлович Пожарский получил приказание созвать в Астрахани, в виде охотников, ногайских мурз да черкесов и привести их на Дон. Воеводе Кондыреву было наказано собрать в Воронеже 3.000 царской рати из украинских городов, соединиться с Пожарским и двинуться к Азову, в помощь донцам, которые между тем должны были начать с татарами войну. В арьергарде стояло 80.000 войска под начальством Одоевского и Шереметева.

Стрешнев держал все это в секрете. Он желал, чтобы король позволил запорожским казакам соединиться с донцами и вторгнуться в Крым, как это не раз уже они делали, а когда б Орда вторгнулась в Московское царство, в таком случае оба союзные государства должны были помогать друг другу, как в прошлом году. Если б его желание исполнилось, то царь воспользовался бы казацкой помощью и, в случае надобности, обороною со стороны польского войска, а Москва не была бы ни к чему обязана, так как было известно, что Менгли-Гирей замышляет идти не на Польшу, а на Московское царство. Данный ему ответ разрушал его план и грозил царю опасностью.

Не теряя времени, Стрешнев начал секретно трактовать с королем, высказал царские предположения и объявил, что царь, «доверяя королю, как брату, желает, чтобы союзною

христианскою рукой общий неприятель был обуздан и уничтожен».

Готовность Москвы ускорила окончательную решимость короля. Настало наконец время ударить соединенными польско-московскими силами на татар, о чем так страстно мечтал, чего так энергически добивался еще Стефан Баторий. Но главный советник и деятель татарской войны уже не существовал. Король постановил предоставить войну с татарами Москве, сам же он, имея свободные руки, ударит на Турцию.

После совещания с панами, Стрешневу дан такой ответ:

«Король повелел коронному полевому гетману сноситься с царскими воеводами по предмету отражения татарского набега, как и в прошлом году гетман был готов прийти в помощь царским войскам, только морозы помешали. Король желает, чтобы в настоящем году войска обоих монархов стояли наготове для обороны обоих государств от набега, дальнейшее же, большее дело хотел бы отложить на будущее время, так как запорожские казаки не могут скоро выйти на море: ибо все их челны сожжены, а новых ныне делать нельзя. Король думает, что татар наилучше воевать тогда, когда султан разошлет Орду на свою службу. Дозволить казакам воевать Крым совместно с донцами король не может: ибо между Польшей и

Турцией вечный мир».

К такому ответу привели сенаторов отчасти известия из Крыма и приезд татарского посла, который привез королю «все направленное к миру». Дело в том, что хан поссорился с султаном, и можно было надеяться, что не вторгнется в Польшу, хотя бы король и нарушил мир с Турцией. Этим способом еще по крайней мере на один год освобождалась Польша от набега татар, которые сами искали мира и должны были отражать Москву. В наихудшем случае, то есть, когда бы хан, во время войны с Турцией, вторгнулся в Польшу, король обеспечил себе московскую помощь.

Так стояли в Польше вещи по отношению к тому государству, которому вскоре сами поляки, споткнувшись на Баториевском вопросе о всемирном господстве папы под эгидою польского рыцарства, дали возможность возратить с лихвою потери, понесенные в отрицании такого господства. Мечтательный король и мечтательный по своему канцлер были только стимулами многовековой борьбы между великими силами — католичеством и православием.

Со времени таинственных переговоров с казаками, Владислав не переставал обдумывать план Турецкой войны, которая долженствовала кончиться изгнанием турок из Европы, воссоздание Восточной Империи и, без сомнения, введением



обеих наших Росий в систему единой вселенской церкви.

Происшествия, случившиеся в последние месяцы, благоприятствовали его замыслам. Все вокруг него устраивалось так, чтобы вовлечь Польшу в эту войну.

Вооружения Венеции, предлагаемые ему субсидии, посольство московское, обоих приданайских княжеств и татарское, все побуждало его к действию. Турция была развлечена внутренними волнениями: ей угрожала междоусобная война. В азиатских и европейских провинциях готовились восстания, которые венецианцы поджигали.

Можно было надеяться, что, с приближением польского войска, все турецкие христиане встанут и увеличат силы короля в десять раз. Владислав надеялся также, что папа, император, князя итальянские и немецкие, Франция, Испания, даже Швеция — поддержат его предприятие. Он хотел склонить к войне с султаном Персию и Морокко, рассчитывал и на Москву, что она, завоевавши Крым, даст ему помощь. Словом, замышлял привести в движение весь мир и, во главе Христианства, уничтожить могущество магометан, а потом дела пойдут сами собою к устройству всемирной империи с такой основой, которой бы позавидовал и сам Александр Великий, с основой

всеобъемлющего и всепросвещающего католичества.

Воображение короля-мечтателя, работая день и ночь над одной мыслью, питалось постоянно новыми впечатлениями. Он был суеверен; он думал, что его будущность predetermined в ходе небесных светил, и верил предсказаниям астрологов. Он и свою жалкую женитьбу считал счастливым предзнаменованием, так как Мария Гонзага была последняя наследница Палеологов, и льстецы, еще до замужества, предсказывали ей греческую корону. «В её происхождении» (говорит её брачный контракт) «видели соединенными имя, надежду и святость Восточной Империи». Каждый день приносил Владиславу какое-нибудь счастливое известие; все, как бы каким чудом, как бы чародейскою силою приведенное в движение, соединялось для осуществления планов его.

Окружавшие короля ласкатели поддерживали его рыцарские фантазии. Кроме Оссолинского, то были большею частью иностранцы, люди характера отважного, как раз под стать казако-польскому характеру Владислава.

Впереди всех стояли два брата Магни, родом миланцы, которых отец заслужил у императора поместья в Чехии. Известный уже нам капуцин, Валериан Магни, молчаливый, видом смиренный старик, был теолог, астролог и философ,

прославившийся множеством суеверных сочинений, изданных в Вене, Антверпене, Болонии, Кракове и Варшаве. Под монашеской рясой скрывал он такое же честолюбие, каким пылал титулярный польский король среди фактических королей польских. Он метил попасть в римские папы на земле и в прославленные Божии святые на небе. Его-то внушениям Владислав был обязан мыслью о крестовом походе еще в звании королевича. Глубокою верою в свои католические утопии, поражающею ученостью, проницательным умом и суровою монашескою жизнью Валериан Магни внушал всем, кто с ним сближался, уверенность в его будущности, но больше всех своему брату, графу Магни. Тот желал быть королем, и надеялся взойти на какой-нибудь престол, когда старший брат воссядет на Святом Седалище в Риме, а Владислав — на троне Палеологов в Константинополе. Граф Магни появился в Польше еще в 1637 году, в качестве агента своего брата, капуцина, по сватовству короля за Цецилию Ренату, и с того времени пользовался необычайною благосклонностью Владислава за свою говорливость обо всех европейских дворах, которых тайны были ему известны в подробностях, а в особенности за свою преданность идее абсолютного монархизма и критику республиканских учреждений.

После этих двух ближайших к королю иностранцев, пользовался его благосклонностью Фантони Итальянец, простонародного происхождения, поэт и музыкант. Видя, что в Польше пренебрегают простолюдинами, не взирая на их таланты, — он сделался ксендзом каноником и королевским секретарем. За это поляки ненавидели его столько же, как графа Магни за порицание республиканских обычаев.

Но король вверял перу Итальянца то, чего не смел вверить ни одному поляку, — и те из кичливых полонусов, которые под безмолвием секретаря видели влиятельного советника, осыпали его подарками.

Далее следовал Джиованни Бантиста Тьеполо. Этот венецианец был приставом у Владислава, когда он, в звании польского королевича, гостил в Республике Святого Марка. Владислав полюбил его и приглашал в Польшу; но Тьеполо обещал явиться к нему не прежде, как он будет королем, — и в самом деле приехал к Владиславу IV в Гродно. Он был принят как нельзя ласковее, и с того времени венецианцы стали видеть в нем «приятеля польского короля». Так он попал в посланники, когда синьория обратилась ко всем дворам с просьбами о помощи. Этот в сущности такой же пустой малый, как и все приближенные к особе короля иностранцы, не сделал в Польше ничего

путного ни для Владислава, ни для своего отечества. Играя роль глубокого политика, он веровал в счастливую звезду польского короля, и был готов рисковать своим имуществом для войны с турками. Предок его, Джакоббо Тьеполь, был первым венецианским князем в Кандии (1212) и привел Венецию к обладанию этим островом, где дом нобилей Тьеполо владел значительными имениями. Естественно, что король, в своей страсти к войне, подчинялся странности, с которою венецианский посол проповедовал казако-польский поход на Черное море.

Но на первом месте в числе тех, которые советовали королю воевать с Турцией, стоял талантливый пройдоха, Оссолинский. Правда, план его состоял только в том, чтобы принять под королевское верховенство господарей, очистить от татар Буджаки, занять турецкие крепостцы над Черным морем между Днестром и Днепром, поселить по нижнему Днепру и черноморскому берегу казаков. Правда и то, что для выполнения этого плана не надобно было вербовать большего войска и собирать громадных сумм, так как нигде в этих местах не было турецких гарнизонов, которые султан постыгивал для войны с Венецией. Достаточно было вооруженных сил двух господарей, обыкновенного квартяного войска, казаков и венецианских субсидий, разделенных

между можновладниками. В случае же, когда бы турки, по истечении двухлетнего договора с Венецией, захотели возвратить утраченные провинции, — господа и казаки могли бы сами себя оборонять, безо всяких издержек со стороны Речи Посполитой. Но, хотя канцлер и не переходил, в своем плане, через Дунай, тем не менее план этот был первым шагом Польши в Турецкой войне, вторжением в пределы Турции, и потому король следовал доверчиво советам своего канцлера. С своей стороны Оссолинский не видел законной или казуистической необходимости отступить от своих предначертаний из-за того, что король замышляет идти дальше. Занять придунайские княжества было не трудно, а дальнейший поход зависел от стольких обстоятельств и требовал таких приготовлений, что на него можно было смотреть, как на создание фантазии, которое исчезнет само собою, лишь только столкнется с действительностью и с оппозицией всего шляхетского народа; изолировать же явно короля с его великолепными планами значило бы — отказаться от опоры своего могущества не только в Польше, но и за границу. А в тот век, когда Валленштейн читал в созвездиях свою великолепную будущность, чего не мог вообразить о себе польский выскочка, которому казалось, что он побеждал и самую фортуна. И король и королевская республика — по всему видно

— были только орудиями и, если понадобится, жертвами его махинаций, так точно, как и в глазах его создателей — иезуитов.

Канцлер стоял тогда в зените своего значения и влияния. Великие и малые земли искали его благосклонности. Дворы его палат, его передние и залы были переполнены шляхтою. Когда он шествовал в королевский замок, или возвращался от короля, ему сопутствовала целая группа сенаторов. Родные канцлера, приятели, слуги — все сияло лучами монаршего благоволения.

И не был антураж Оссолинского мелким ласкательством людей, добившихся кой-как «сенаторской лавицы». Вся Польша, претворенная иезуитами во что-то совсем не похожее на грубую, но честную и благородно гордую Сарматию времен доиезуитских, видела в коронном канцлере то, что, за исключением разве некоторых, желали бы поляки видеть в своих сыновьях и внуках. Когда великий канцлер выдавал дочь свою, Терезу, за Сигизмунда Денгофа, сокальского старосту, серадзского воеводича и племянника по сестре коронному великому гетману Конецпольскому (а было это в феврале 1645 года), — во второй день свадебных церемоний *panna mloda* получила 70 дорогих подарков из разных сторон Польши; в третий день опять поднесли ей 80 подарков, в числе которых были приношения от седмиградского

князя, Ракочия, от князя курляндского и почти от всех польских городов; а подарки в тот век считались не посулами, предосудительными для честного дома: они были выражением внимания и почитания; они у знатных и богатых людей составляли предмет особенного честолюбия. В этом смысле сосчитано, что молодая пани Денгоф получила свадебных подарков на 150.000 злотых.

Король отличал канцлера от всех своих подданных, и делал ему почести, подобающие принцам крови; а самый гордый, знатный и влиятельный из можновладников, глава католической партии в Польше, князь Альбрехт Радивил, передавая невесту из родительских рук в руки жениха, счел достойным своего сана и характера превозносить заслуги Оссолинского. После краткого изложения истории дома его, повествовал он широковещательно о жизни и делах самого канцлера: как Оссолинский с юных лет, подобно пчелке, брал и усматривал то, что было услугою королям, опорой отечеству и утешением собственному дому; как он, будучи послом и маршалом Посольской Избы, улаживал величайшие затруднения; как счастливо выполнил посольство в Англию; как своим красноречием и пышностью возвещал в Риме славу и величие своего короля; как убедил Апостольскую Столицу к соизволению по предметам величайшей для Речи Посполитой



важности; как в Регенсбурге содействовал элекции императора Фердинанда III, и устроил бракосочетание императорской дочери с королем; как строил замки, костелы, семинарии; как из чужих краев привлекал в Польшу монахов небывалых дотоле в ней орденов; современные же заслуги коронного канцлера, его труды и попечения литовский канцлер оставил «похвалям веков грядущих».

И так вот они, те люди, которые устраняли всякое зазрение совести и все сомнения короля, которые утверждали его в опасном замысле и окружили туманом общих в Польше понятий о долге и честности, сквозь который он смотрел на свет. Капуцин Валериан и граф Магни, каноник Фантони, венецианский посол Тьеполо и коронный канцлер Оссолинский заменяли для него людей дальновидных, одаренных умом и сердцем Конецпольского. Владиславу казалось, что все того жаждут, чего жаждет он.

Король только с теми проводил приятно время, с кем говорил свободно о своих планах, и потому сделался для прочих недоступным. «Только эти люди имеют свободный доступ к королю» (писал современник). «Королевские слуги сторожат каждую дверь; не отойдут и не поднимут портьеры ни для кого, пока им кто-нибудь из этих великих не прикажет».

При таких-то обстоятельствах образовался широкий план Владислава IV, и так сросся с его душою, что никакие затруднения, никакие препятствия не могли потом прогнать его из королевской головы. Владислав стоял на своем до самой смерти, не взирая на то, что все от него отшатнулись.

В апреле 1646 года, пока еще московские послы не выехали из Варшавы, Турецкая война была у него делом решенным, как у московского царя — Татарская. В этом месяце были кончены его договоры с Москвою, с казаками, с послами господарей и с Венецианскою Республикой.

Тьеполо уведомил свою синьорию, что волошский господарь пойдет к Дунаю с 30.000 войска, которое будет служить авангардом королевской армии. То же самое сделает мультянский господарь с 20.000 войска. К нему де послан литовский полевой гетман, князь Януш Радивил, для понуждения к скорейшему выполнению заключенного с королем договора. Князя седмиградского уведомил король через нарочного гонца о своем предприятии. В течение нескольких недель вознамерился он собрать более 20.000 казацкой милиции, кроме 6.000 регулярного войска, обыкновенной своей гвардии. Далее писал Тьеполо, что король повелел полковому гетману, чтобы в соединении с московскими полководцами,

готовился вызвать войну с татарами, а когда в июне и в июле будет отворен Днепр, казаки выйдут на море; наконец, что он призвал к себе нунция и отдал ему собственноручное письмо к папе, в котором просил о скорой, столь необходимой помощи.

Тьеполо, как сказано выше, уменьшил сумму 600.000 талеров, которые Венеция ассигновала для Польши, и предложил королю от синьории только 400.000. По смерти Конецпольского, «для воспламенения и пробуждения ума короля», прибавил еще 100,000, говоря, что делает это сверх данного ему наказа. В счет своей прибавки, он тотчас отсчитал 20.000.

В то же время Владислав дал аудиенцию двум греческим монахам. Они уже четыре месяца ждали её с письмами от восточных архиереев, которые молили короля о помощи польским войскам, клятвенно уверяя, что оно будет сильно поддержано ими и всею Грециею.

На беду Польши, тут же вынырнул из забвения известный уже нам Александр Оттоманус, иначе султан Ахия, если не кто-нибудь другой под его именем. Теперь это новорожденное чад самозванщины, выработанной папскими приверженцами на беду России, назвали султаном Захию Оттоманно, иначе Александром графом Монтенегри.

В конце прошлого года, следовательно через десять лет после напрасных подступов к царскому правительству, проявился он во Львове и обратился к королю с уверениями, подобными тем, которые Москва извела уже к их истинному значению. Владислав не сомневался, как и его любимцы казаки в 1625 году, что на турок встанут все греки и турецкие славяне.

Венецианская Республика предполагала выслать войска в Фриули и Далмацию, и поддержать восстание в Боснии, которое действительно вспыхнуло в нескольких местах. К Стемповскому, своему послу в Москве, король послал наказ, чтоб, узнав хорошо намерение царя, составил прелиминарные пункты наступательно-оборонительного союза.

Владислав постановил — увеличить силы свои в первом году войны до 50.000, именно до 20.000 казацкой милиции и 30.000 регулярного войска различных вооружений, которое повелел вербовать и в Польше и в Германии. Немецкою конницею должен был предводить генерал-лейтенант, граф Баудисен, пехотою — генерал-майор фон Видель, артиллерией — Криштоф Артишевский.

Кроме того король рассчитывал на помощь польских панов и надеялся, что, в случае надобности, они предоставят в его распоряжение

свои надворные хоругви, состоявшие почти из одной конницы.

По ревнивому исчислению шляхетского народа, боявшегося воинских подвигов своего короля, Владислав надеялся, в случае, когда бы султан перенес войну в Польшу, противопоставить ему 100.000 казацкой пехоты сверх 6.000 реестровиков, 52.000 панской конницы, 30.000 регулярного войска и 50.000 войска господарского; всего до 250.000, к которым, по окончании Крымской войны, должно было присоединиться 100,000 московской рати.

Войну было предположено начать безотлагательно. В конце июля Владислав намеревался выступить во Львов, 4 августа — соединиться с полевым гетманом и двинуться к Подольскому Каменцу. Оттуда гетман должен был, с частью войска и с панскими ополчениями, идти к Днепру и там, в соединении с московской ратью, стоять против татар; король же, с сорока с лишком тысячами, предположил направиться между Днепром, Бугом и Днестром на Очаков, Белгород и другие ближайшие приморские города, выбить из Буджаков татар и овладеть турецкими крепостями. А чтобы турки не препятствовали с сухого пути, волошский и мультянский господари обещали оборонять переходы через Дунай, лишь бы только им было послано в помощь сколько-нибудь

польского войска.

Таков был план кампании 1646 года, фантастический на взгляд панов домоседов и хозяйственной шляхты, но сравнительно с ничтожными ополчениями будущей безгосударной Польши — грандиозный. Оставалось только найти предлог к нарушению мира с Турцией и сочинить законное в глазах Речи Посполитий основание для ведения войны; ибо королевская присяга не позволяла Владиславу, без соизволения сейма, ни собирать войско, ни заключать союзы, ни вести наступательную войну.

Осолинский изыскал на то способы. Военные действия короля должны быть обращены против татар, но против татар буджацких.

Турецкое название Буджак по-русски значит кут. Буджаки, или куты, обнимали край между Черным морем, Днестром и Дунаем, с городами: Бендеры (Тегинь), Измаил, Акерман (Белгород), Килия и Рени. Там, в XVI столетии, поселились ногайцы, крымские бунтовщики, подобные утикачам на Запорожье, и распространили свои кочевья за Днестр. Жили они, как и наши запорожские казаки, почти исключительно добычею, а добычным поприщем служили им Подолия, Украина и Волынь.

Первым и главным условием мира, заключенного между Речью Посполитою и Турцией

в 1634 году, было: «чтобы татары были выселены из Буджаков и кочевья их сожжены». Это была *conditio sine qua non* со стороны Польши. Но Турция не выполнила своего обязательства. Хотя король беспрестанно настаивал на рассеянии этой орды, она, как бы на зло ему, позволяла усиливаться буджацким татарам, так что число их в 1645 году возросло до 20.000 наездников. Это были татары самые воинственные, самые дикие, наилучше вооруженные и наиболее чуждые промыслам мирным. Если на Крым смотреть, как на Украину Турции, то они для крымского хана были то, что для колонизаторов польской Украины были запорожцы, а для турецкого султана — то, чем запорожцев желал и, при других условиях, мог бы сделать польский король.

Целые области между Буджаками и Малороссией были заняты кочевьями сбродных татар. В широких промежутках между их кочевьями, милях на десяти и больше, не было никому возможности ни поселиться, ни проехать безопасно за их разбоями и хищничеством. Враги крымского хана и слуги турецкого султана, буджацкие наездники беспрестанно вторгались в польские пределы, не входя глубже шести или семи миль, и, после нескольких дней грабежа, возвращались обремененные добычей. Турция, по-видимому, смотрела с удовольствием на то, что

южные окраины Польши вечно терпели беспокойства и утраты, вечно находились в оборонительном положении.

И вот эти-то татары должныствовали сделаться главным поводом к нарушению мира. В случае упреков со стороны сеймовых представителей Речи Посполитой, король мог заслониться постановлением, обязывавшим его «отвращать опасности, грозящие государству, каковы суть набеги татар». На этом основании мог он, под видом войны оборонительной, начать войну наступательную. Очистив Буджаки и стоя с войском над Дунаем, дал бы он сигнал общего восстания христиан Турции, а принимая господарей под свое покровительство, на что имел всяческое право, этим самым начал бы войну с Турцией. Волей и неволей должна была бы тогда Речь Посполитая помогать ему, если бы не хотела ждать страшного возмездия.

Начертав мысленно план великой войны в строжайшей тайне, так что и ближайшие ко двору сановники не догадывались, в чем дело, король повелел призвать в Варшаву нужных ремесленников, инженеров и вербовщиков, а сам, позабавившись якобы беззаботно в замке комедией, отплыл по Висле вместе с королевой на охоту в Стембов.

Но там, под влиянием венецианского посла,



изменил план действия и решился выступить с своим замыслом открыто. Вернувшись в мае с охоты, Владислав объявил публично Турецкую войну, и с лихорадочной поспешностью начал приготовления, точно как будто совершившимся фактом, энергией своих движений и молвой о приготовлениях хотел увлечь за собой республиканское государство и подавить в нем оппозицию.

Это был такой взрыв долго сдерживаемой страсти к славе и величию, несчастнейшей из польских страстей, что последовательно идущий к своей цели канцлер должен был ужаснуться орудия собственной мечты своей.

Варшава вдруг начала наполняться войском. Предводитель королевских трабантов, Ян Денгоф, получив повеление вербовать гвардию, устроил в самой Варшаве контору вербовки. Капитаны Плайтер и Корф, произведенные теперь в подполковники, вербовали шляхту в Мазовецком воеводстве. Коронная хоругвь была отдана Антонию Пацу, с повелением набрать несколько полков конницы. Отовсюду звали на войну. Арсенал наполнялся рабочими, замок — новобранцами.

Королевский дворец в Уяздове стоял как бы посреди лагеря, окруженный палатками, возами, торговками и шумно толкающимися жолнерами.

Оседланные кони, поминутно выбегающие вестовые, наплыв разнообразно вооруженных офицеров, муштрующиеся на площади отряды пехоты, звяканье оружия и толпящиеся караулы, — все это характеризовало главную квартиру полководца, а не резиденцию короля.

Сам Владислав, помолодевший, возбужденно деятельный, назначал полковников и капитанов, отправлял вербовщиков за границу, пехоту вербовал лично, приказывал объезжать лошадей, ревизовал ежедневно арсенал. При нем изготовлено 36 пушек, огромный запас пороху, ядер, бомб и гранат: все это 18 (8) мая должно было идти во Львов.

С началом августа кампания должна была открыться. В Яссах была назначена главная квартира короля. Там господари должны были собирать съестные припасы, фураж и материалы для постройки мостов.

Все приготовления делал король открыто, перед глазами всего света. На поверхностный взгляд, ему оставалось только выступить в поле. Но это были действия или человека сумасшедшего, или же короля, задумавшего решительным движением спасти государство свое от олигархов, рискуя семейными жертвами и личными опасностями.

Возможности такого замысла не допускали фактические короли Польши, которым и во сне не

снилось, что даже казак скоро будет нагибать их под свою дикую волю.

Оссолинский испугался ответственности перед соправителями своими за поддержку титулярного короля. Взвешивая две соперничающие силы, канцлер знал, что король не способен восторжествовать над оппозицией и увлечет его своим падением, если он останется явно на стороне государя, возмущившегося против подданных. «Если же провидению святого маестата Божия» (мог думать на своем языке Оссолинский) «будет угодно восстановить так внезапно Восточную Империю, как внезапно устранен им с моего жизненного пути непреодолимый соперник, Януш Острожский, то новый император без такого канцлера не обойдется, и, при его слабом характере, не трудно будет мне стать одесную всемирного властителя».

Оссолинский решился действовать патриотически. Когда Владислав просил его приложить канцлерскую печать к так называемым *приповедным листам*, которыми ротмистры уполномочивались вербовать в Польше и за границу войско, канцлер отказал королю в просьбе. Того мало: он сделался противником войны, которую две недели назад, вместе с королем, обдумывал.

Отказ в печати со стороны канцлера был

делом законодательной предусмотрительности шляхетского народа, вечно боявшегося самовластия не только в государе своем, но и в его сановниках. Канцлер обыкновенно присягал не печатать приповедных листов против общественного права, дабы король не мог собрать войско без позволения своей республики.

Но противником Турецкой войны Оссолинский сделался из опасения междоусобия, которое могло бы вспыхнуть в Польше ради подавления королевского самовластия. В то же самое время Турция могла б обратить все силы на Польшу, помирившись с Венецией. В этом Оссолинский, как человек государственный, был тоже прав. И турецкое могущество, и венецианское торгашество понимал он вернее своего короля.

Турция в самом деле, видя, что ей грозит война с севера, готова была заключить мир с Венецией; а синьория, как видно, на то и рассчитывала: ибо, в то самое время, когда Тьеполо так ревностно хлопотал в Варшаве о Турецкой войне, она в Стамбуле, при посредстве французского посла, старалась о мире. Синьория решила купить мир с турками громадными суммами, и продолжала войну так, «как будто не хотела раздражить султана». Ей было нужно, чтобы Владислав IV выступил открыто с Турецкой войною, чтоб он обнаружил свои замыслы, и чтобы

Турция узнала, что делается в Варшаве. Сам Тьеполо служил ей бессознательным орудием для ослепления размечтавшегося воителя: он обещал королю три миллиона скуди субсидии, в случае когда бы Турция перенесла войну в Польшу, но, по своим инструкциям, не подавал никакой надежды, чтобы Венеция захотела заключить оборонительно-наступательный договор с Польшей и обязалась не заключать с Турцией мира без согласия короля; а король до того увлекся погоней за славой, что принимал, зажмуря глаза, все условия синьории, не обязывая Венеции ни к чему с её стороны.

К этим двум извинительным причинам отступничества канцлера присоединился еще и недостаток денег, необходимых для ведения войны, которая требовала издержек громадных. Здесь неспособность короля к великим предприятиям выказалась поразительно. Он твердил, что у него довольно средств, и уже в первые дни приготовлений должен был занять у своей нелюбимой королевы 80.000 злотых, которые раздал полковникам и капитанам. Это само по себе гнусно, но в герое Христианства еще гнуснее данное Марии Гонзага обещание, что за этот заем он будет раздавать все должности не иначе, как через её руки. Суммы, которые обещал Тьеполо от папы и от князя тосканского, оказались весьма

сомнительными. 250.000 талеров, которые венецианский посол занял под собственное обязательство под 7% у королевы, не были достаточны для войны, которую король постановил вести приватно, без помощи Речи Посполитой. На одни работы в арсенале шло у него ежедневно по 1.000 дукатов, а как приготовления были рассчитаны на три месяца, то один арсенал требовал 180.000 талеров. Желая нанять 30.000 войска, надобно было по крайней мере «дать на руку» простым жолнерам столько, что это составляло до миллиона флоринов, не считая покупки лошадей, мундиров, возов и платы офицерам. Сколько же надобно было припасти денег, чтобы выступить в поле?

Неудивительно, что Оссолинский, видя, как отступил король от первоначального плана войны, или вернее сказать — от её таинственности, неудивительно, что он подчинился общему негодованию, и не только сделался противником короля, вылепившего себе магната из «простой глины», но увлек за собой и всю свою партию. Поляки полагают, что Оссолинский, обязанный, как канцлер и сенатор, предостерегать Речь Посполитую от угрожающей ей опасности, уведомил и некоторых сенаторов о королевских замыслах. Во всяком случае король, как личность, был почтеннее своего канцлера. Он входил в

положение Оссолинского, и в последствии жаловался перед венецианским послом так: «Изменил мне канцлер, как Иуда Христу, не из злости и ненависти». Два польские ротмистра, вербовавшие жолнеров от имени короля, бросились к Оссолинскому с обнаженными саблями, называя его врагом отечества, за что были наказаны инфамией. Но король, по невозможности заменить канцлера другим советником, или же по недостатку твердости характера, продолжал доверять ему, как и Радзеёвскому.

Получив отказ от канцлера коронного, Владислав надеялся, что не откажет ему в печати по крайней мере канцлер литовский. Но Альбрехт Радивил, приехавши в Варшаву, писал в своем дневнике следующее:

«12 мая прибыл я в Уяздов, и слышу изо всех уст о войне. Удивляюсь, расспрашиваю, доискиваюсь причины. Я думал, что шведы ударили на нас, как прибыл ко мне коронный канцлер от короля с уведомлением, что, вместо зайца, поймали на охоте войну... Я спросил: напечатаны ли уже листы для ротмистров? — Еще нет. — Тогда я сказал, что скорее позволю отрубить себе руку, нежели приложу к ним литовскую печать. Коронный канцлер был того же мнения».

Король почувствовал необходимость сделать первый легальный шаг для того, чтобы втянуть

Речь Посполитую в пойманную на охоте войну. Сеймовое постановление 1613 года гласило, — что в случае какой-нибудь внезапной опасности, король обязан предупреждать ее «по докладу радным панам, каких скорее может увидеть». Владислав призвал в Варшаву самых приверженных к нему членов Сенаторской Избы, чтоб убедить их в грозящей Польше опасности и склонить к войне. Постановление панов рады узаконило бы его поступки и — что всего важнее — подскарбий, то есть государственный казначей, мог бы тогда выдать ему сумму, которую Речь Посполитая собирала уже четыре года на случай войны с Турцией.

Оба канцлера опасались этой сенаторской рады, и потому условились видеться накануне в саду монахов реформатов для совещания.

«Я советовал» (пишет литовский канцлер), «чтобы рады не было, по той причине, что постановления секретных сенаторских рад всегда зависели от решения короля. Завтрашняя рада не сопротивлялась бы его мнению, и мы должны были бы взять его вины на себя, а пока оправдались бы на сейме, общая ненависть задушила бы нас. Вот почему советовал я отложить раду до коронации королевы, чтобы дать обществу время ознакомиться с этим делом».

Так и было поступлено. Оссолинский убедил



короля, точно учитель школьника, отложить безотлагательное в его революционных интересах дело, и так как оба канцлера не согласились печатать приповедных листов, то король велел печатать их комнатною (rokojawa) печатью. О комнатной печати в сеймовых постановлениях вовсе не упоминалось, и каждому гражданину представлялся полный произвол «респектовать» эту печать, или нет.

Когда происходила в Варшаве такая путаница королевского и панского двоевластия, пришло официальное известие о событии, которое говорило ясно, что и на русской почве Польша стоит неурядицей: казаки вышли на Черное море. Это известие произвело в среде можновладников чрезвычайное волнение, точно как будто с их стороны было сделано все, что мог бы сделать, в качестве панского диктатора, Конецпольский для предотвращения подобных событий.

Одновременно с одной революционной новостью поразила панов и другая: к Люблину двинулось 40 пушек, а перед арсеналом стояло уже 20 новых, готовых для похода. Венецианский посол, получив часть занятых у королевы денег, делил их между офицерами, давая себе такой вид, как будто он управлял войною. Тьеполо обращался с речью к жолнерам, обещал награды, надзирал в арсенале за работами, объявлял даже, что король

выступит в поход.

В то же самое время заграничные газеты говорили о королевских планах, неизвестных правителям Польши, о договорах с иностранными державами, игнорировавших права Речи Посполитой.

Все это возбуждало в сенаторах негодование; а тут еще было получено известие о приближении турецкого посла. Надобно было действовать.

В несколько дней все можновладники пришли в движение и соединились против короля. Революция королевская вызвала в Польше революцию шляхетскую. Быстро вскипела оппозиция, и уже литовские «сословия» требовали от короля созвания сейма, в противном случае, грозили прибыть в Варшаву и держать рады, хотя бы и в его присутствии. Сенаторы, резиденты и прибывшие по их зову члены Сенаторской Избы, истощив напрасно просьбы и убеждения, стали обходиться с королем дерзко даже в гостях у Оссолинского. За обедом коронный подканцлер, Андрей Лещинский, указывая пальцем на послов французского и венецианского, спросил вслух: «Что это за послы? по какому праву сидят они за королевским столом? Королевская свадьба кончилась: зачем они остаются у нас?»

Этой наглости даже и Владислав IV не вынес: он уехал поспешно с королевой и со своей свитой.

Гости Оссолинского остались в великом волнении. Сенаторы принялись разбирать поступки короля: упрекали, что он руководился советами своих иностранцев, которые разносили по всему свету секреты Речи Посполитой; что сделался орудием чужой политики в руках венецианского посла; что своим образом действий хочет вызвать междоусобие; указывали на его болезнь и на лета, на ссору с соседними государствами по поводу вооружений, и все приходили к тому заключению, чтоб не позволить ему вербовать войско и не поддерживать войны, которую задумал он противозаконно, вопреки присяге и без внимания к возможным последствиям.

Канцлер говорил сдержанно, не хотел выступить против короля открыто, и представлял, что Речь Посполитая имела бы достаточно поводов к нарушению мира с Турцией. Этим он утвердил многих во мнении, что и сам был участником замыслов короля.

Паны группировались вокруг литовского канцлера, который делал королю самые неприятные представления в самых почтительных словах, и Оссолинский уступил наконец просьбам своего панегириста, чтобы к его напрасным убеждениям присоединил и свои. Король оставался при своей решимости, однакож задержал в Варшаве пушки, приготовленные к отправке.

Владислав сделался раздражителен, чего с ним до тех пор не бывало. На непрошенный совет Якова Собиского, относительно Турецкой войны он отвечал с таким язвительным презрением, что гордый магнат «впал в меланхолию, заболел и вскоре умер».

К увеличению досады, терзавшей короля, со всех сторон посыпались к нему письма от бискупов и светских сенаторов. Особенно горько ему было письмо князя Иеремии Вишневецкого, товарища Конецпольского в Охматовской победе и самого воинственного из магнатов, который, будучи в это время опекуном малолетнего наследника Фомы Замойского, располагал значительною силою. Этот объявил королю без обиняков, что Турецкой войны предпринимать без ведома Речи Посполитой не следует.

Но громче всех был голос краковского воеводы, Станислава Любомирского, считавшегося «великим и первенствующим в государстве мужем». Он обратился к королю с письмом по просьбе малопольских сенаторов, и его письмо разошлось во многочисленных копиях и в Польше, и за границей. Любомирский говорил, что король нарушил права и вольности шляхетские, ломает свою присягу, советы иностранцев предпочитает отечественным, искренним, опытным, и поступает так, как будто поляки утратили свою верность, или

не понимали подобных предприятий и не имели сердца для смелого дела. Он просил не таить от поляков войны, в которой дело идет об их собственной шкуре, и заключил свое длинное послание надеждою, что настанет время, когда король уразумеет разницу между теми, которые хотят ему только полюбовиться, и между верными, преданными своими подданными.

Письмо краковского воеводы было сигналом ко всеобщему ропоту. Короля называли «творцом вредоносных смут», дразнили подметными письмами, похожими на пасквили, грозили, что сейм разгонит навербованных жолнеров и привлечет вербовщиков к ответственности.

Король нашелся вынужденным вернуться к первоначальному плану, к походу на Буджаки, тем более, что в это время папа и князья итальянские обнадуживали его своею помощью. Владислав начал объявлять публично, что никогда не имел намерения начинать войну с турками; что все его приготовления были направлены к войне против татар; что никаких договоров против турок не заключал, и вообще ничего без согласия Речи Посполитой предпринимать не замышлял, так как все зависит от сенаторской рады, которая вскоре должна состояться.

Этим способом успокоил он бурю, которая собралась над его головою. Правда, сенаторы не

верили, что никогда он о войне с турками не думал, но были убеждены, что король уступил их просьбам и желает идти путем законным.

По пословице: «каков приход, таков и поп», польские можновладники до тех пор вертели своими королями, вымаливая и вынуждая уступку за уступкою, пока наконец, в лице Владислава IV, увидели лукавого дельца по предмету царственности, вместо государя, — увидели не вершителя общественных дел, а школьника, которого от времени до времени надобно страшать. Не имея сами гражданского самоотвержения, требовали его от короля; присягая сами словом и противным слову намерением воображали, что избирательный король будет верен своей присяге. Рано или поздно должны были они проиграть в эгоистическую игру государство и раскаяться в своем иезуитстве.

Поступки Владислава, по-видимому, подтверждали то, что он говорил... 29 (19) мая он решительно разорвал договор с Венецией, и объявил пораженному изумлением послу её, что при таких обстоятельствах, как безденежье папы и князей итальянских, войны для обороны Италии вести не думает; велел ему вернуть данное королеве обязательство и принял заем на себя. Согласно просьбе великополян повелел изготовить и подписал универсалы под коронную печатью о

прекращении вербовок и распущении на вербованного войска. Запасы пороха, ядер, пушки и всю аммуницию приказал спрятать, лошадей и возовую прислугу отослал, в Стамбул обещал послать гонца для успокоения султана, а сам предался праздности и забавам, точно как будто голова его не была ничем озабочена.

И однакож, в то самое время, когда отпирался от всякой мысли о Турецкой войне, писал он к папе, к итальянским князьям и в Венецию, обеспечивая себя дальнейшею помощью. Графа Магни послал, в половине июня, к немецким князьям, приглашая их к войне с Турцией, а победоносного шведского полководца, Торстенсона, просил уступить ему свое войско. Князь Януш Радивил выехал в начале июня из Варшавы с инструкциями к волошскому господарю. Универсалы о распущении новобранцев лежали нераспечатанные. Вместо них, новонабранные дружины получили знамена с надписью: «Во славу Креста (Pro gloria Crucis)».

Военные приготовления не прекращались, только делались под предлогом войны с татарами. В арсенале работы шли день и ночь. На эти работы король ежедневно тратил по 1.000 дукатов. Из королевской канцелярии было послано приказание к прусским оберратам, чтобы содействовали вербовке пяти компаний драгун по 200 всадников, под начальством Крейца и Фабиана фон Кенигсек.

Можновладники получили воззвание о доставке для королевской службы соответственного числа жолнеров. Приповедные листы выдавались под комнатною печатью.

Варшава наполнилась офицерами различных вооружений и рангов. Король ограничивался только сообществом военных людей: с ними проводил время, охотился, пил, веселился, и так как обладал редкою способностью привлекать к себе и убеждать людей, то в короткое время такую возбудил к себе преданность, что все были готовы лезть в огонь по его мановению. Чтобы привлечь к себе военные таланты, наименовал Николая Потоцкого краковским каштеляном и коронным гетманом. Потоцкий был противником Турецкой войны, но татар воевать был готов, и обещал выполнять королевские повеления.

Имея вождя и войско на своей стороне, король надеялся, что в августе можно будет начать военные действия и, под видом войны с татарами, втянуть Речь Посполитую в войну с Турцией.

Под конец июня разослал он письма ко всем сенаторам с приглашением в Краков на коронацию королевы и на совет. В письмах жаловался на распущенные вести, якобы он, без ведома сейма, предпринимал войну с Турцией, просил этим вестям не верить и успокоить шляхту, так как он готовит войну против татар, на которых московский



царь уже наступил, пока султан, занятый войною, не может их оборонять.

«...Предоставляем это рассудку вашей преданности, *urzejmosci waszej*» (писал он к популярному краковскому воеводе, Любомирскому), «столь достойное и с делом короля согласное намерение заслуживает ли такого превратного истолкования, для того, чтобы встревожить доверие преданных нам подданных, которое мы столькими благодеяниями так утвердили в их сердцах, что не опасаемся, чтобы его поколебали порывистые рассуждения и представления нашего намерения. Требуем, однакож, от вашего усердия, дабы, по вашей сенаторской обязанности, вы содействовали пренебрежению этими неосновательными слухами и доверчивому мнению о нашей опеке гражданских прав и вольностей. Впрочем близок уже наступающий сейм, который, если, по совету панов сенаторов, не ускорит, то на время, определенное законом, созвать не замедлим, и тогда об этом предмете откровенно побеседуем с вашею преданностью....»

Этим способом король, в течение одного месяца, так обработал общественное мнение, что в Варшаве никто не подозревал упорства, с которым он держался своего замысла. Нашлись даже такие, которые готовы были присягать, что король о

Турецкой войне никогда и не думал. Но в провинции не удалось ему так легко отвести подозрение: ибо вербунки, происходившие там у всех перед глазами, и новые приповедные листы под комнатною печатью, — опровергали уверения, что король оставил мысль о Турецкой войне. Не хотели верить, чтобы против татар надобно было вербовать вооруженную тяжело пехоту. Война с татарами также не была очень популярна. Появились многочисленные сатиры, летучие сочинения и колкие шутки против короля и его гетмана. Распускали слух, что москалей татары разбили наголову.

Зато приверженцы двора разглашали, будто коронный гетман прислал известие о завоевании венецианцами Дарданелл, а для возбуждения религиозной ревности католиков было распушено в то же время пророчество о гибели турок в 1646 году, вместе с поддельным письмом султана Ибрагима к королю. Султан грозил, что возьмет Краков, ксендзов и их распятого Бога без милосердия потопчет, веру искоренит, монахов будет разрывать лошадыми. «Пускай де на меня досадует Бог твой: имея за собой Магомета, я совершу все»...

Уклонения от долга, чести и национального достоинства со стороны короля, которого панское общество выработало по образу своему и по

подобию, для русского читателя могут казаться посторонними предмету книги. Но я напомним ему, что в отпадении Малороссии от Польши совершилось отпадение верхних слоев народа от самой Малороссии, вместе с тою землей, которую наши отступники предали *ipso facto* в обладание иноверцев и иноплеменников. Клерикалы обделали свое дело в пользу польщизны давным давно. Мы забываем уже, как звали тех, которые были представителями странной метаморфозы, и пишем в русской истории имена Радивилов, Сопиг и пр. и пр. в ополяченной форме. Но, повествуя о чертоторые польской жизни со слов самих поляков, и часто подлинными словами поляков, не должны забывать, что в этом чертоторые кружились, тонули и утонули наконец, может быть, лучшие из наших малорусских людей вместе с худшими, и что поэтому на историю польской неурядицы, почти во всех случаях, можно смотреть как на горестные воспоминания о наших собственных предках.

Оссолинский — с того времени как склонил короля отказаться от войны с Турцией, повернул его к первоначальному плану похода и уничтожил преобладающее влияние венецианского посла, — сделался вновь горячим приверженцем королевских замыслов, и стал во главе действия. Он умел изгладить в умах мысль о заговоре с королем против шляхетских вольностей, и разгласил по всей

Польше, будто бы король отказался от войны с Турцией по его убеждению. Великопольские сенаторы благодарили его за королевское письмо, «в котором де нас его королевская милость уверяет, что ничего такого не замышлял, что причинило бы ущерб нашим правам, и так как ваша милость был и есть причиною того, за это вашей милости много благодарны».

Перемена в образе действий Оссолинского очевидна. Через девять дней по разрыве с Венецией, канцлер явился у венецианского посла и, между прочим, сказал ему, что «можно бы и не оставлять начатого дела, еслиб только король был уверен, что не будет оставлен», а через несколько недель уведомил Тьеполо, что сенаторская рада соберется в Кракове и что король нуждается в помощи.

Король действительно нуждался в помощи, то есть в деньгах, так как после краковской рады намеревался двинуться во Львов и начать кампанию.

27 (17) июня выехал он из Варшавы в Краков, и в день его выезда выступило ко Львову 3.000 пехоты. Повеление вывозить остальные пушки было приостановлено, дабы не возбудить подозрения.

В Ченстохове король снял с себя саблю, положил на алтарь Богоматери и велел освятить

хоругвь новосформированных гусар. В этом акте поляки видят его возвращение к мысли об учреждении ордена и рыцарства Беспорочного зачатия: тем и другим он мог надеяться привлечь охотников к войне с неверными.

17 (7) июля после коронации королевы, в Кракове состоялось первое заседание сенаторской рады. Король представил ей то самое, что повторял уже целый месяц: уверял, что никогда ничего противного праву делать не намеревался; что о войне с турками не думал; что желал только предупредить ордынские набеги, но и войны с татарами не имел намерения начинать без дозволения Речи Посполитой, чему де доказательством служит созванная рада; приготовления же и договоры с христианскими державами делал в надежде, что Речь Посполитая, несомненно, согласится на эту войну. Потом представил сенаторам причины, которые склонили его мысли к татарской войне. Эти причины были: готовность Москвы воевать заодно с Польшей и ослабление Турции, которым надлежит воспользоваться. Но совсем умолчал о казацком союзе с татарами, из опасения, чтоб этот секрет не сделался предметом толков. Наконец, просил присутствующих, чтобы не только сами согласились на Турецкую войну, да и Речь Посполитую искренно к тому приводили.

Сенаторов было в раде 19; предводительствовали ими 5 бискупов. Все они знали уже о задуманном открытии кампании, усиливались отвлечь короля от войны и склоняли к созванию чрезвычайного сейма; наконец объявили, что без третьего, то есть «рыцарского сословия, второе сословие, (состоявшее из сенаторов) и первое (представляемое особою короля) не имеют права решать вопрос о предполагаемой королем войне.

Такую же декларацию получил король письменно и от сенаторов отсутствующих. Так называемый *гремивальный* (задушевный) лист великопольских сенаторов и шляхты, адресованный к королю и коронному канцлеру, признавал, как отеческую попечительность монарха, так и пользу войны с Ордою; «но поелику» (писали великополяне) «речь идет здесь о войне наступательной, которой без согласия всех трех сословий начать нельзя», то они просили Владислава — свои королевские предначертания приспособить к общественному праву и приостановиться с военными действиями, доколе сейм не согласится на татарскую войну, которая де может навлечь на государство войну Турецкую: ибо и турецкий «император» должен за своих подданных, и король не на татар, а на турок готовится.

Краковская рада продолжалась три дня. Оссолинский поддерживал мнения сенаторов, как объявил об этом сам в ответе великополянам. Согласились наконец в том, что король сзовет 23 (13) октября сейм и уведомит все державы, с которыми начал договоры, чтобы прислали на сейм послов с определенным и твердым объявлением, чего Речь Посполитая может от них надеяться в случае войны. Наконец, сенаторы признали войну с татарами необходимою, обещали склонять к ней шляхту, просили только «униженно», чтобы король не выезжал во Львов и не возбуждал этим турок, а лучше употребил то время на поправление своего здоровья. Король отвечал, что должен посоветоваться с коронным гетманом, а когда ему советовали лучше вызвать к себе гетмана, или через верного человека объявить ему свою волю, он оставил этот совет без ответа и удалился.

Пытались еще однажды, вечером, сделать ему представление об этом деле, но король, произнося несколько непонятных слов, велел прислуге нести себя в спальню, откуда тайком уехал в Неполомицы на охоту.

Гнев бискупов-сенаторов обратился на венецианского посла. Едва король уехал, ему велели, в два часа ночи, выехать за 4 мили от городского округа. Тьеполо поехал жаловаться к королю, и застал у него графа Магни, который

вернулся из своего посольства с донесением, что, как немецкие князья, так и Торстенсон отказали в своей помощи.

«Мы сделали все» (сказал король венецианскому послу), «что были в силах. Все князья отказали нам в помощи; весь народ нам воспротивился; мы подвергли опасности наше королевское достоинство... Но не сожалеем о том; по-прежнему стоим на своем предприятии, и когда б имели достаточно помощи, могли бы теперь действовать еще успешнее».

К этому прибавил он, что выезжает во Львов; что значительные силы стоят уже на границе; но если решительный ответ итальянских князей придет поздно, тогда — все кончено.

Граф Магни получил тотчас повеление ехать в Италию. Король отправил гонцов к московскому царю и в Персию, а сам выехал во Львов, повелев остальные пушки везти за собою.

Поездка во Львов открыла глаза всем, кто до сих пор верил королю, что он с Турцией воевать не думает. Вспомнили, что еще в мае говорили в Варшаве публично; что военные приготовления окончатся в июле; что тогда же король выедет во Львов; что в первых числах августа выступит в поле... Поэтому выезд его во Львов считали началом военных действий против Турции.

5 августа прибыл король в город нашего Льва



Даниловича. Его сопровождала королева, вместе с нунцием, французским послом, Оссолинским и несколькими надежными приятелями. Едва приехал он в столицу Червонной Руси, как его засыпали письмами можновладников. Шляхта следила за своим королем, как за опасным врагом. Знали, кто входил в архиепископские палаты, где он остановился, кто выходил. Знали, у кого король был и с кем говорил. Ловили на лету слова его дворян. Но не было возможности проникнуть в окружавшую его тайну.

Король сделал смотр войску. Но видя, что вербовка шла вяло, по недостатку денег, что шляхта сторонится от военной службы, а можновладники проникнуты духом оппозиции, решился, вместо дальнейшего пути к Подольскому Каменцу, вернуться в Варшаву. С этим намерением созвал он, под величайшим секретом, военный совет, и повелел гетману Потоцкому, ставши с обозом под Каменцом, ожидать дальнейших распоряжений. В то же время казаки вышли вновь на Черное море, а король отправил из Львова к султану письмо, обвинявшее Турцию в нарушении мира, так как буджацкие татары не переселены в Крым. Это письмо было вызовом на войну. Король, очевидно, надеялся, что Порта потребует объяснений и пойдет на уступки, или же станет грозить войною. В случае благоприятного ответа со стороны венецианской

синьории и князей итальянских, как опасения, так и угрозы Порты могли только помочь королю на сейме для начатия войны. Но если бы Венеция ответила отрицательно, тогда вооружения короля и уступки, ожидаемые от Порты, принесли бы по крайней мере ту пользу Польше, что буджацкие татары были бы переселены в Крым. Во всяком случае, можно было бы, на основании этого письма, начать переговоры и доказать Порте ясно, что вооружения короля были направлены не против неё, а против буджацких татар.

Между тем гетман Потоцкий, вместо того, чтобы повиноваться королевским повелениям, донес обо всем сенаторам, а они советовали ему, с предостережениями и внушениями, чтобы медлительностью уклонялся от исполнения королевских распоряжений. Согласно с панскими внушениями, Потоцкий изыскивал различные препятствия к немедленному перенесению лагеря под Каменец, пока король, не догадываясь о его махинации, вернулся наконец в Варшаву ни с чем.

«Был я у короля» (писал в Венецию Тъеполо), «лишь только он вернулся из Львова, и нашел его непоколебимым в своих предначертаниях. Король говорил мне, что его пребывание во Львове встревожит Порту; что баша силистрийский прислал во Львов соглядатая с уверением, будто буджацкие татары получили строгое повеление не

появляться в Польше, а быть в готовности против Москвы. Сказал мне также, что нетерпеливо ждет возвращения графа Магни и сейма, и что получил верное известие о казаках: они ободрены удачею в морском походе и двинулись дальше».

Поездка во Львов и смотр войска дали шляхте новый повод к нареканиям. Даже придворные говорили о короле дурно, называли его нарушителем вольностей, угнетателем народа. Не только словом, но и письменно подрывали они славу его и подстрекали общество к бунту.

Двусмысленное в глазах двух государственных сословий поведение Оссолинского и его секретные совещания с королем во Львове возбудили против него не меньшие подозрения и досаду, как и против короля, — тем более, что в этом городе, по его всемогущему влиянию, решен был важный для магнатских партий вопрос о том: кому, после возвышения Николая Потоцкого до «великой булавы», король вверит «булаву малую», то есть полевое гетманство. Наибольшее право на этот высокий пост, по военным заслугам, имел сподвижник Николая Потоцкого в последнем, опасном для панов усмирении казацкого бунта, Станислав Потоцкий, воевода подольский. За ним следовал не менее известный воинскими подвигами воевода русский, князь Иеремия Вишневецкий. Наконец, по

обычной в Речи Посполитой наследственности дигнитарств, следовало бы малую булаву предоставить сыну великого Конецпольского, Александру, коронному хорунжему. На ходатайство Оссолинского в пользу свекра его любимой дочери, Урсулы, черниговского воеводы, Мартина Калиновского, перевесило все, чем эти три кандидата возвышались во мнении шляхетского народа.

По горестной для Польши случайности, новый коронный полевой гетман был внук того Калиновского, который «переломал ребра отцу Северина Наливайко и которого Наливайко называл, в письме к королю, счастливым, что не захватил его дома, когда налетел на его местечко Гусятин с венгерских гор, сжег замок и разорил местечко.

Теперь потомство самовластного магната глухим еще покамест гулом нового казацкого бунта вызывалось на боевой суд, по-казацки на суд Божий, с наследниками и учениками дикого Царя Наливая.

Но Божий суд совершался уже над всеми олигархами польско-русской республики за их презрения, — совершался в том смысле, какой выражен в русской и польской пословице: «кого Бог захочет покарать, у того отнимает разум». Не предвидя, в гордости многовековых успехов, какое

унижение готовится им в наследственных приватах их, они устами многочисленных своих приятелей и клиентов ревели против нарушения политического равновесия панских партий и наконец свой рев сосредоточили в безымянном «дискурсе»,<sup>13</sup> обвинявшем канцлера в том, что, под предлогом Турецкой войны, намеревался он уничтожить шляхетские вольности и реорганизовать Речь Посполитую.

«Это давнишняя мысль канцлера» (писал безымянник) «уничтожить шляхту и ввести в Польше правление оптиматов (аристократов). Не так он привержен к монарху, чтобы желать ему правления наследственного; нет, он хочет ввести такое положение, чтоб у нас не было ни полной вольности, ни полной неволи. Он хочет быть не министром, а товарищем короля. К этому, после всех его подвигов, были направлены его широковещательные дискурсы о Правах Посольской и Сенаторской Избы. С этой целью сочинил он кавалерию, которой сломили голову, и которую теперь поднимают за хвост. Для того же искал он в Империи княжеских титулов, и наследственных князей в Польше уничтожал. То же

---

<sup>13</sup> Dyskurs jednego Dworskiego per modum Listu pisany we Lwowie.

самое обнаружилось в благодарности, вымученной у шляхты, в контрибуции, выжатой у ксендзов, в складках, выманенных у городов. То же самое и в вопросе, как повалить Посольскую Избу. То же высказалось и в гвардии для развода схваток на сеймах. Вот почему не решался он привыкший к вольности народ привести к строгому повиновению, а довольствовался постепенным увеличением королевской власти. Не имел он и теперь намерения выступить с насилием; но когда его захватили врасплох королевские замыслы, захотелось ему воспользоваться случаем и ниспровергнуть существующее правление в Польше. Давно уже сказал о нем варвар, что это польский Ришелье, только что не попал на такого государя, которого мог бы сделать статуею, а себя — королем».

### Глава XIII

*Польские сеймики и сеймы. — Возмущение второго и третьего государственных сословий против первого. — Король отдается в руки своих подданных. — Недоверчивость шляхетского народа к королю. — Новый сейм. — Религиозные дела вместо политических. — Сеймовая неурядица развязывает королю руки.*

Я показывал русскому читателю государственную и общественную жизнь былой Польши со стороны её олигархических и охлократических крайностей, сопоставляя в ней две родственные национальности, руководимые и охраняемые представителями двух противоположных церквей. Читатель мой был зрителем и цивилизованного, и дикого героизма её воинов, зрителем соперничества различных сословий и состояний.

Дивный по своей оригинальности конгломерат, называемый Польским Королевством, Речью Посполитою Польскою, по-казацки Королевскою Республикой и Королевскою землей, по-пански шляхетским народом, — готов теперь, силою своих исторических судеб, перейти в новую формацию, к гордости одних, к досаде других и к отчаянью третьих. Радуюсь тихо падению погибших «от своих беззаконий» и наслаждаясь торжеством истинной гражданственности под её призраком, мы с русским читателем не можем отказать себе в удовольствии вызвать из глубины прошедшего кажущееся польское величие в истинном его виде, — в виде государственного ничтожества, и представить национальные доблести польские тем, чем они были действительно.

Зрелище того и другого открывается перед

нами всего поразительнее на тщеславной выставке общественной свободы, — на том пресловутом съезде польских перов и депутатов, который носил прискорбное подобие наших старинных русских веч.

Все польские сеймы были интересны в смысле представительства польской государственности, — как те, на которых народно и величаво появлялся наш «святопамятный» с тысячами разнородно вооруженного войска, — зтот прототип можновладной «приваты», так и те, на которых оскорбленная гордость великого пана готова была превратить Сенаторскую Избу в дикую сцену кулачного права. Но чтобы видеть полный расцвет всего химерического в Королевской Республике накануне того *потопа*, которым угрожал ему выделившийся из шляхты разбойный элемент, надобно было присутствовать на двух сеймах, которые непосредственно предшествовали падению самоуверенной силы, измерявшей славолубивыми взорами громадное пространство между Ледовитым океаном и Средиземным морем, между Атлантикою и морем Каспийским.

Я посвящу целую главу пересказу того, что на этих двух сеймах видели глаза и слышал слух наших малорусских предков, кто бы они ни были, — пересказу со слов самих поляков. С какими бы чувствами и мнениями ни описывали



они свое прошедшее, их верные фактам описания рождают в русском сердце другие чувства, в русском уме — другие мнения.

Каждому сейму в Польше предшествовали поветовые сеймики, посредством которых высказывались общественные желания, и каждый сеймик отправлял на центральный сейм своего представителя, под названием земского посла. По теории польского самоуправления, — теории, надобно сказать, прекрасной, — земским послом мог быть не только крупный, но и мелкий землевладелец-шляхтич, преобладающий умом и нравственными достоинствами над прочими «братьями шляхтою»; но на практике выбор падал всегда на богатого и сильного всяческими связями. Таким образом прославляемое демократическое правление шляхты в сущности было аристократическим.

На провинциальных сеймиках 1646 года все высказались против короля. Шляхта южных воеводств опасалась, чтобы король Турецкою войною не обратил её подданных в казаки и не расстроил этим её хозяйства. Литовские паны боялись вторжения шведов, которым казалось, что Владислав собирается воевать за свое право на шведскую корону. Но и война Турецкая могла дать случай шведам продолжать военные действия, приостановленные Густавом Адольфом. Всего же

больше были вооружены против короля великополяне. Свеженавербованные иностранцы причиняли им великое разорение. Местные старожилы знали на опыте неистовства польского жолнера, но такой разнузданности, какую представляла военщина, навербованная за границей, никто из них не запомнил.

Так оно и должно было быть. Тридцатилетняя война довела истощенные государства Западной Европы до необходимости положить конец убийствам, совершившимся ради одних, или других притязаний. Война, известная под именем Тридцатилетней, была, собственно говоря, продолжением той войны, которая началась восстанием Нидерландов против испанского владычества. С промежутками трактатов, контрибуций, набора новых войск и отдыха старых, военный разбой, освященный воззваниями за веру, честь и свободу, тянулся не тридцать, а восемьдесят лет. Искусство нападать и обороняться, при пособии возродившихся точных наук, достигло высокой степени в этот горестный период жизни западных народов, и породило массу специалистов человекоубийства, от которых безоружные классы страдали, точно в басне глиняные горшки от медных, плывущих с ними по одной и той же реке. Когда наследники и питомцы восьмидесятилетних неистовств пришли к великополянам на указанные

им сборные пункты, их жестокое прикосновение было почувствовано всеми до такой степени, что по всей Польше раздался громкий вопль, и успокоенная в течение последних десяти лет Королевская Республика узнала с ужасом, что ей предстоит новая всегда опасная война с Турцией.

По официальному заявлению местного воеводы, в Великой Польше было полно обид и плача убогих людей. «Их слезы» (писал он) «иностранцы жолнеры отсылают к небесам, насмехаясь над вольностью и правами граждан и грозя публично, что хлопов обратят в шляхту, а шляхту — в хлопов». Но протесты, угрозы и жалобы шляхты не помогали. Польские высшие ведомства привыкли к подобным представлениям. В Королевской Республике, за отсутствием исполнительной власти, её место занимало самоуправство. Еще в 1590 году коронный полевой гетман писал к великому, что его жолнеры будут тяжелы местным жителям. «Но я» (говорил он) «от вашей милости научился быть *контемптором* подобных вещей. Надобно угождать совести делать, что разум и нужда Речи Посполитой указывают. Пускай горланит что кто хочет: большой и справедливейший был бы крик, когда бы нас упредил неприятель». Если так думали Станислав Жовковский и Ян Замойский, тем естественнее было так думать Владиславу IV и Юрию

Оссолинскому. Они молчали на получаемые донесения, и, в надежде предотвратить гораздо большее зло, продолжали готовиться к войне.

Прусские сословия протестовали не меньше великопольских и перед канцлером, и перед королевскими полковниками; но все было напрасно. Только провинциальные сеймики были отголоском таких протестов. Подобно наступающей со всех сторон грозе, их вечевые взывания готовы были разразиться громом на центральном, столичном сейме. Всюду носился слух, что король намерен отнять у шляхты свободу и ввести наследственный монархизм. Одни вопияли, что, вербуя без согласия сейма войско, он этим самым уже вводит самодержавие в Польше; другие твердили, что договор с Венецией и война с татарами были только предлогом к этому. «Король не надеется долго жить и, не видя обеспечения семилетнему королевичу, со стороны сейма, прибегает к насильству в его пользу», говорили некоторые; а один из шведских сановников высказал публично, что король посылал за помощью к Торстенсону, с целью ввести в Польше неограниченное правление; что уже Густав Адольф обещал ему свою помощь в этом деле за отречение от прав на шведскую корону, и что король теперь снова искал помощи у Швеции, а Швеция обещала ее. Всего больше было между шляхтой таких,

которые проповедовали, что чем бы Турецкая война ни кончилась, она грозит полякам утратою свободы. «Если одолеет короля Турция» (говорили они), «Речь Посполитую ожидает рабство; если турок побьет король, шляхту ожидает рабство; если война не разрешится ничем, тогда наш край сделается добычею жолнеров».

Подобные толки заняли всех до такой степени, что ни о чем не желали трактовать на центральном сейме, как о распусчении иностранной и королевской гвардии, которая выросла уже до 5.000. Все сеймиковые инструкции вменяли в обязанность земским послам: не соглашаться на Турецкую войну, открыть её двигателей, домогаться распусчения вербовок, отправить посла в Турцию для подтверждения мира, заплатить татарам недоплаченный гарач, называемый подарками. А чтобы король какою-нибудь хитростью не обманул двух сословий, был принят предложенный краковским воеводою сигнал: *противоречие всему!* Если же король не согласится с желанием шляхетского народа, шляхта постановила: сесть на коней и разогнать вербунки.

Королю было известно постановление каждого сеймика: он знал, что сеймики грозили отказать ему в повиновении; что сенаторы вписывали свои постановления в гродские книги; знал, какие выбраны послы и какие даны им

инструкции. Но при всем том не только не оставил своих замыслов, а еще больше, нежели когда-либо, жаждал войны. «Такой жар пылает в сердце короля» (писал современник), «что надобно опасаться, как бы он не сгорел».

После краковской рады Владислав разослал ко всем христианским королям и князьям, даже к их старшим полководцам, приглашения к участию в войне против язычников, а 3 октября отправил посла в Персию. Послал и в Париж посла, дабы уверить Швецию в своих мирных намерениях и просить у Франции помощи.

Со всех сторон получались благоприятные известия. Венеция, не дождавшись польско-турецкой войны для заключения с Турцией мира, начала воевать с нею серьезно. Из Москвы уведомляли короля о начавшейся войне с татарами. Султан повелел башам помогать хану. Персы облегли Вавилон. В Палестине и в других турецких провинциях вспыхнули бунты. Князь Януш Радивил вернулся из Ясс и Мункача и привез уведомление, что Ракочий обязался не пускать турок через венгерские границы в Польшу, а оба господаря обещали поставить по 25.000 войска, дать значительные субсидии и прислать послов на сейм.

Король был в наилучшем расположении духа. Он отправил во Львов другие 24 пушки, 4 большие

мортиры и 25 бочек аммуниции с повелением коронному гетману — двинуться в Волощину с 22.000 войска. Владислав надеялся, что если приближающийся сейм не одобрит войны с татарами, то по крайней мере определит налоги и прибавку войска на оборону Речи Посполитой; а этого было довольно, чтоб из войны оборонительной втянуть шляхту в войну наступательную.

При таких обстоятельствах, среди общей тревоги по всему государству, начался в Варшаве, 25 (15) октября, достопамятный сейм 1646 года.

Маршалом Посольской Избы был избран Николай Станкевич, писарь жмудский, сделавшийся на этом сейме лицом историческим. Шляхта, представляемая земскими послами, распорядилась на сей раз, чтобы так называемая презентация состоялась не в Сенаторской, а в Посольской Избе. И вот внесли кресла для сенаторов. При короле всегда находилось человека три-четыре сенаторов-резидентов, радных панов, а всех сановников, заседавших в сенаторских креслах, было 140. Из этого числа, для спасения отечества от угрожавшего ему лишения гражданской свободы, прибыло на сейм, чреватый событиями величайшей важности, только семь. Боясь огорчить — или короля, или шляхту, отцы отечества выжидали вечевого результата дома.

Земские послы, сидя кругом Избы на скамьях, обитых красным сукном, встретили входящих сенаторов громким смехом.

В половине первого часа вошел королевский канцлер, а за ним — король. По выражению польского историка, они вошли, как двое обвиняемых. Приветствовали их молчанием.

Маршал Посольской Избы обратился к королю с пожеланием доброго здоровья, и выразил надежду, что он здоровыми своими советами благоволит утешить Речь Посполитую, которую изображали собою земские послы.

Ему отвечал коронный подканцлер, бискуп Андрей Лещинский, но с такими намеками на короля, что скорее казался главой оппозиции, нежели министром короля и Речи Посполитой.

После его язвительной речи маршал Посольской Избы читал имена земских послов, которые один за другим приближались для целования королевской руки. В числе их оказалось много врагов его польского величества: они целовали королевскую руку на воздухе. Этим актом публичного уважения монаршего достоинства кончилась презентация.

На другой день, в первом заседании сейма, надобно было ждать бури. Но коронный канцлер Оссолинский, стоя по обычаю на первой ступени трона, произнес «королевскую пропозицию» с



таким благодушием, как будто его только и занимали ложные слухи на счет короля, которые он тут же уничтожал своим пленительным для поляков словом. У соотечественников Оссолинского эта пропозиция считается самую знаменитую из его речей, сказанных им по-польски. Пасторий переложил ее на латинский язык и поместил в свой *Historiae Polonae plenioris partes duae*, на вечную, как он писал, память потомству. Коронный канцлер так ублажил представителей шляхетского народа восхвалением созданной им Речи Посполитой, что один из самых завзятых земских послов назвал его слово «благодетельным елеем», а под конец пропозиции представил в таком ласкательном виде просьбы короля о многочисленных нуждах, как его собственных, так и всего королевского дома, что слушателям показалось неправдоподобным, чтобы король, находясь в такой зависимости от Речи Посполитой, мог питать замыслы, противные желаниям её. Сохраненная на вечную память потомству речь много способствовала тому, что сейм, настроенный весьма враждебно, прошел гораздо тише, нежели можно было надеяться.

Для русского читателя интересно пышное начало её, точно медом помазавшее по сердцу польскую шляхту, от природы доверчивую и добродушную.

«Населили доблестные поляки в открытых

полях свободное королевство, окруженное только стеною любви и единодушного между сословиями доверия. Поставили среди него сторожевую башню королевского маестата, дабы с её высоты вовремя слышать предостережения единого повелителя, усматривающего отдаленнейшие бури. Возле башни от имени сената воздвигли курию (то есть Посольскую Избу), дабы, вместе с верховными предостережениями, во все стороны растекался зрелый и непорывистый совет о потребностях Речи Посполитой. На себя же, неразлучные с боевым оружием, взяли функцию добровольной, ревностной обороны общественной безопасности.

Так установленная стояла и, даст Бог, будет стоять непоколебимо целость, слава и краса нашего милого отечества, усиленного братским присоединением к нашим предкам великих народов, возвеличенного бесстрашными подвигами королей, повелителей наших, особенно же расширенного в своих границах отважными делами его королевской милости, нашего всемилостивейшего государя.

И однакож (продолжал исполненный гражданского самоотвержения канцлер) бесчестная жадность частных выгод силится при всяком удобном случае порицать и путать столь хорошо обдуманную форму правления. В стачке с самомнением, она всего неистовее штурмует это

главное передовое укрепление взаимного доверия, дабы, открыв неприятелю и его хитростям общественное благо, тем легче обеспечить свою ненасытную *привату*. Вот откуда происходит уклончивость от должного доверия к предостережениям бдительного и благодетельного государя и в высшей степени легкомысленное уверение, что ниоткуда не грозит нам никакая опасность; вот откуда превратное истолкование горячей его заботливости; вот откуда пренебрежение к братской раде сената, а что горше всего — потрясение целого состава Речи Посполитой», и т. д. и т. д.

Исчислив подвиги короля и жертвы, принесенные подданным для освобождения отечества, коронный канцлер, в числе таких жертв, упомянул и «усмирение казаков бесценною кровью рыцарства», а потом перешел к татарским опустошениям края, которые де сопровождаются наполнением Крыма и Буджаков христианскими пленниками. «И до того уже дошла» (говорил он) «языческая самоуверенность, что и под самый бок его королевской милости, несколько месяцев тому назад, посол татарский привел в тяжких оковах польского шляхтича, пана Замойского, запертого в Северии, и тут же устроил позорный базар для торга свободою шляхетскою кровью, к несмываемому стыду наших народов и к

неутешной горести его королевской милости и всего двора, бывшего тому свидетелем».

Но напрасно сторожевая башня, олицетворяемая славным оратором в особе короля, давала сигналы об угрожающей польским гражданам опасности. Красноречивую пропозицию приняли обсуждать сенаторы, встреченные на презентации громким смехом со стороны земских послов. Первый из них, архиепископ гнезненский, Матвей Лубенский, будучи стар, говорил таким тихим голосом, что видно было только, как шевелились его губы, но и ближайšie к нему послы «не могли сказать, произносил ли он хоть что-нибудь». Вслед за ним бискуп хелмский, Станислав Петроконский, говорил «сухо и холодно», наступательной войны не советовал, но и подарков татарам не одобрял. Далее воевода равский, Андрей Грудзинский, не соглашался на войну, и под конец наговорил такого, «что никто его и сам себя он не понимал». Каштелян серадского, Предислава Быковского, «никто не слушал и не слышал». Каштелян данцигский, Станислав Кобержицкий, в «прекрасно речи», хвалил королевские предначертания, но настоящей войны с татарами не одобрял, боясь Турции; советовал, однакож, быть наготове и не желал распускать вербовок, а только полковников поставить польских. Каштелян бжезинский,

Хабрицкий, войны не одобрял. Каштелян перемышльский, Тарло, «советовал быть черепахою, сидеть тихо и головы не выставлять». Еще два каштеляна сопротивлялись войне. Жарче и смелее всех говорил подканцлер, бискуп хелминский, Андрей Лещинский. Он угодил шляхте дерзостями против короля, но советовал не посылать в Турцию посла, а лучше думать об обороне.

Вообще все сенаторы соглашались в том, что Речь Посполитая должна быть готова к войне, но каждый из них «боялся королевской немилости», и не высказался вполне.

Голосование двенадцати сенаторов тянулось четыре дня. Оссолинский был раздражен некоторыми речами, как публичными, так и домашними, которые тогда произносились в провинциальных кругах, где его называли открыто сочинителем королевских замыслов. В заключительной канцлерской речи, он излил свою досаду на коронного подканцлера, Лещинского.

«И у меня» (говорил он) «скорее не хватит жизни, нежели свободы слова. Но пользоваться свободой мысли в царствование благодетельного монарха, любящего права, вольности и счастье подданных, — в этом еще мало славы, заслуги никакой... Надобно только благодарить Бога, что в наш век мы наслаждаемся таким счастьем,

истекающим от благотворного царствования его королевской милости... Я подаю мой голос только в пользу сохранения неразрывной связи королевского маестата с общественным благом. Тот был бы общий изменник, кто бы смел маестат монарха разлучать со свободой народа тайным поджигательством, или публичною декламацией»...

Такое вступление слушали «с великим смущением». Глаза всех обратились на подканцлера, которого Оссолинский назвал изменником и декламатором. Лещинский «сидел бледный, как стена». Но красноречию Оссолинского не доставало той победительной силы, которая заключается в чистоте побуждений и возвышенности духа. Не один из его слушателей вспоминал о другом «великом», как называли Оссолинского, государственном муже, — недавно утраченном Станиславе Конецпольском, который «скорее делал, чем высказывался», и которого каждое слово, произносимое с природным заиканием, растекалось по всей Польше. Коронный канцлер, желая польстить примасу, Лубенскому, неожиданно кончил свою речь ссылкой на его мнение, «которого никто не слышал». Тогда «поднялся шум, шепот, смех. Послы не обращали внимания на остальную часть речи, и вынесли убеждение, что канцлер не хотел высказать собственного мнения относительно распущения

войска, ссылаясь в деле военном на отзыв архиепископа».

Со стороны короля делались всяческие заискивания у третьего сословия в пользу Турецкой войны. Недавно были им получены от гетмана Потоцкого желанные известия о грозном для поляков движении турок. Король надеялся, что под впечатлением этих известий, послы озаботятся безопасностью государства, утвердят и войско, и налоги, вследствие чего ненадобно будет ни распускать вербунок, ни платить им: ибо в таком случае Речь Посполитая приняла бы их на собственный счет и вернула бы ему издержки.

Первая речь Оссолинского при открытии сейма ублажила земских послов, успокоила опасения, придала надежды сторонникам двора. Да и между послами было много приверженцев Турецкой войны. Таковы были: Януш Радивил, Александр Конецпольский, Иероним Радзеёвский. Прочие белорусские, червоннорусские и украинские можновладники, заседавшие в Посольской Избе, при всем своем возбуждении к оппозиции, готовы были стать на стороне короля, если бы представители третьего сословия зашли слишком далеко. По признанию поляков, «многих можно было, как это делалось обыкновенно, угомонить просьбами, убеждениями, подкупом и обещаниями, а в наихудшем случае — создать

сильную факцию и парализовать деятельность Посольской Избы». Таланты Оссолинского и его канцлерское достоинство могли сделать много и даже все, когда б он был искренно предан королю и его грандиозной политике. Но для этого недоставало одного, — чтобы король, вылепив себе канцлера из простой глины, вдохнул в него самоотверженную душу. Такой души природа не дала ему самому. При всей готовности своей служить Христианству и при всем своем геройстве, он был своего рода эгоист и своего рода трус. Увоенная им с детства лживость, свойственная ему по его природе оплошность, недостаток определенного начертанного плана действия, внезапные затеи по вдохновению минуты и школьнические увертки перед судьями гражданского долга, — все это ослабило достоинство его царственности, раздражало дерзость оппонентов и придавало им небывалые силы.

31 (21) октября, по выслушании сенаторских заявлений, земские послы вернулись в свою Избу, недовольные тем, что сенат страшит их татарским и турецким набегом, советует готовить войско и требует от них налогов. Они не верили, чтобы Турция думала о войне с Речью Посполитою, гремели против королевских замыслов, против советников войны, а когда один посол из



Сендомирского воеводства, рассыпаясь в похвалах канцлеру, подал голос в пользу вооружения, — это возбудило такое негодование, что несколько человек ухватилось за сабли. В первом же заседании Посольской Избы, состоялось постановление: отправить к королю посольство с объявлением, что послы не приступят ни к чему, пока противозаконно на вербованное войско не будет распущено.

Король отговаривался нездоровьем, и едва 5 ноября принял земских послов, да и то в постели. Он отвечал им через посредство Оссолинского, между прочим, что распущенное войско не преминет грабить и угнетать их сограждан. Если земские послы и сенаторы не заботятся об обороне Речи Посполитой и решат, что набранное войско не нужно, король готов распустить его, лишь бы Речь Посполитая указала способ распушения.

Изда послала вновь к королю посольство, с требованием, чтоб он выдал главного советника Турецкой войны и разослал универсалы на распушение жолнеров. Речь Посполитая не нуждается де в них, так как, в случае надобности, собственною грудью готова отражать неприятеля.

Король опять откладывал со дня на день аудиенцию, сказываясь больным, и только 10 ноября принял маршала Посольской Избы Яна Николая Станкевича. Отвечал ему Оссолинский,